

Толщина



КСАНА



ЕКАТЕРИНА СУВОРИНА

МУРАТОВА—

ФРОНТОВАЯ АРТИСТКА

Рисунки Н. Вьюха.

ГЛАВА I

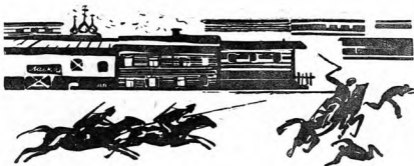
ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ

По Московской, небрежно развалился в седлах, медленно проехали десятка два казаков. Кто-то из прохожих остановился и задумчиво проводил их глазами.

Прошло месяца два с тех пор, как в Херсонские ворота с музыкой, парадно въезжали белогвардейские войска. За несколько дней до этого где-то недалеко за городом по ночам глухо били орудия и по крышам окраинных домов сыпалось что-то, будто разбрасывали горох для голубей. А днем уходили красные — на конях, на грохочущих телегах, на машинах, а больше пешком. Уходили угрюмо, торопливо, но без суеты. И одеты были не строго по-военному, а кто в шинели без хлястика, кто в куртке, в пальто, подпоясанном ремнем, в кожаных гали-

фе, и неизвестно было, уходят только солдаты или вместе с ними и местные жители. Несколько дней горело здание Чрезвычайной Комиссии.

И едва только донеслись из-за херсонских шпильей звуки труб и мерная стукотня копыт, на город пало уныние. Люди попрятались в домах и с опасной выглядывали сквозь щелочки в занавесках. Только мальчишки, которым все надо знать первым, выбежали смотреть, что будет, да известный в городе фотограф, он же церковный староста, маленького роста, с огромной огненной бородой, препоясавшись полотенцем украинской вышивки и на концах его вынес хлеб-соль. Очевидно, он думал, что теперь ему подобает заменить собой дворянство, сметенное еще в семнадцатом году. Ехавший впереди молодцеватый офицер с тонкими усиками, не слезая с коня, подхватил блюдо с хлебом-солью и передал по рядам дальше, а сам поскакал вперед, не обращая внимания на фотографа, растерянно мечущегося среди лошадей, повозок, орудий. Фотограф долго что-то выкрикивал птичьим голосом, полотенец тянулось за ним по пыли, как шлейф. Солдаты гоготали.



А офицер, принявший хлеб-соль, и целая ватага таких же, как он, скакали по улицам, размахивая револьверами, и вот уже на углу улицы Чехова ткнулся лицом в землю человек в синих штанах и распахнутой кожаной куртке, а около сгоревшего здания Чека неловко сел прямо на тротуар какой-то паренек, прикрывая локтями черную от крови голову. Мальчишки быстро исчезли в калитках, их как ветром смело.

С первых же дней город удивительно изменился. Не стало видно людей, которые жили здесь, работали, беседовали при встречах. Улицы наполнились приезжими — нарядами дамами, мужчинами неизвестных профессий, в котелках, солдатами с казачьими лампасами, офицерами, шумной, пестрой толпой, что катилась вместе с белой армией. На базарах появились продукты: белая мука, которой давно здесь не видели, колбасности, колбасы. Нет, это не были те крестьянские базары, где так славно пахнет сеном, дегтем и лошадыми, где на возах кричат гуси и поро-

сята, где веселые молодаяки продают чисто укрытые холстинками махотки со сметаной и глечки с топленным молоком. Крестьян на базарах не было. Люди в черных пиджаках стояли у ларей с сахаром, с мукой, с крупками. Что ж, веселитесь и радуйтесь, куряно, покупайте, у кого есть романовские, керенские, донские!

Но куряне не веселились. Город жил какой-то чужой, показной жизнью: на веранде в Кулешевском саду играла музыка, звенели шпоры, какие-то люди кутили, пили вино, проезжие знаменитости давали концерты.

Скромный белообрый человек по фамилии Занг, появлявшийся раньше в любительских спектаклях, вдруг оброс шикарными белокурыми бакенбардами и обрел новую фамилию и титул — барон фон Франк. Известный актер, красивый мужчина из знатной русской фамилии, надел логаны поручика и после репетиций шел в контразедку допрашивать арестованных коммунистов. В дома, где прежде жили красные, являлись пристава и полицейские делать обыски. Они казались вырванными напоказ: от мундиров городских народ успел отвыкнуть.

Так суетливо и шумно шла эта временная, ненастоящая жизнь.

И сейчас несколько любопытствующих прохожих разглядывали собравшуюся на Московской улице группу полицейских. Даа мужина в рубашках навыпуск и в пиджаках притащили сюда огромную лестницу и свернутое трубкой белое полотно. Сбросив пиджаки на тротуар, они стали прилаживать лестницу к дому. Городовые стояли отдельной группой, лениво смотрели на мужиков.

Неожиданно подехал верхом офицер, остановился возле полицейских и, сдерживая лошадь, закричал им что-то резким, начальственным голосом. Те зашвелились, суетливо стали помогать мужикам, поддерживали лестницу, ткнули веревки на другую сторону улицы. Офицер надрылся криком: «Э-а-о-у-и-а-а-а-а!» Ветер разносил только гласные, и нельзя было понять, что он кричит. Прохожие останавливались, никто их не разгонял.

На Московской показались двое — девушка, почти девочка, лет шестнадцати, в школьной форме, с двумя светлыми косами, и юноша, немного постарше, лет восемнадцати, прямоволосый и черный, как мексиканец, с крепким розово-коричневым румянцем на щеках. Они приближались издали и были заняты своим спором, заключающимся в себе, видимо, все самые главные вопросы жизни, которые только и

можно разрешить в этом возрасте. В те времена люди, особенно молодые, любили спорить, говорить, вызывать со дна души еще не определившиеся стремления: жизнь требовала ясного отношения к себе, без утаек и недомолвок.

— Понимаете, Ксана, первый раз я понял это еще там, в клубе Ленина, в тот вечер, когда вы читали стихи. Так читали!.. Если человек отказывается от религии, он должен найти что-то другое, огромное, что захватило бы его, что учило бы его законам добра, справедливости, честности...

— Ну неверно же это! — нетерпеливо перебила девушка. — Религия умирает сама, да она уже умерла, потому что душа давно полна другим. Настоящим. Самым важным. Жизнью, а не мифом, за которым ничего нет. И разве вы не понимаете, что все эти законы, о которых вы говорите, несет с собой только одна власть — красных. Большевиков. Ах, Коля, в вас очень сильно сидят все эти легенды, внушенные вам в детстве!

— А вы разве легко их отбросили, Ксана? — запальчиво спросил он. И, так как она не ответила, сказал спокойнее: — Я мучительно переживаю уход красных, потому что верю в их справедливость... Но я хотел бы знать, что думают большевики о душе. Не смеетесь. Я нигде не могу прочесть об этом. А я хочу, чтобы в жизни было что-то чистое, светлое, к чему надо стремиться... Я боюсь низменной, мелкой жизни, ничем не освещенной, — вот что!

— Какой вы смешной, Николай! А идеи, за которые люди отдают жизнь, — разве это не самое святое? Это же не для себя, а для всех...

Пожилая женщина с озабоченным лицом, обгоняя юную пару, чуть обернулась, взглянула в их лица и бедно улыбнулась.

Стучавшаяся толпа преградила путь, юноша и девушка остановились и только сейчас заметили, что здесь через улицу натягивают транспарант. Ветер крутил полотно, и буквы вдруг возникли и пропадали.

— Пойдите, — сказала Ксана, удерживая за руку юношу. — Что это? Что это?

Транспарант укрепили пока только одним концом к стене, но уже кто-то успел прочесть надпись: **ЗАВТРА СОСТОИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ КОММУНИСТА...**

— Кого? Кого? Как фамилия? — беспokoйным гудом неслось по толпе. — Господи, прonesи! Кого же это?

— Ничего не видеть. Ма... Ми... Ветер рвет... Сейчас протянут через улицу. Ма... На выдать!

Кровь отхлынула от лица Ксаны.

— Что это? — снова спросила она белыми, как соль, губами.

Юноша вспыхнул, брови его надвинулись на глаза. Он решительно взял девушку под руку, торопливо повел вперед, наклоняясь над ней, почти загоразивая собой ее лицо, чтобы скрыть от нее злое выражение лица.

Она растерянно шла за ним, хватая воздух открытым ртом.

На повороте к Херсонской развешивали такой же транспарант. Ксана остановилась, увидела мелькнувшую в складках букву «М» и медленно начала опускаться на землю. Николай успел усадить ее на ступени чьего-то крыльца.

— Ксана, Ксана... Успокойтесь, еще ничего не известно. Ксана... — метался он возле нее.

— Это папа. Это, наверное, папа, — прошептала она и привалилась головой к стене дома.

— Подождите. Возьмите себя в руки, Ксана, — тихо, но твердо говорил Николай. — Я сейчас постараюсь что-нибудь узнать. Будьте мужественны. Ну?

Вы можете идти? Нельзя здесь сидеть. Идем. Вы же такая сильная, Ксана. Вы же очень сильная, я это всегда знал.

— Да. Я могу идти, — сказала девушка чужим, холодным голосом и встала. — Узнайте. Я пойду.

И она пошла вниз по Херсонской к дому, маленькая, прямая, с неподвижной, высоко поднятой головой, как это бывает у слепых или у людей, глядящих далеко-далеко вперед.

Ветер кружил по улице пыль, мусор, солому, обрывки газет.

Николай быстро зашагал назад, к толпе полицейской. По дороге он оглянулся, посмотрел вслед девушке, пригладил рукой свои прямые черные волосы.

А Ксана шла ровно, медленно, одна коса у нее почти расплелась, она не замечала этого.

Только вчера весь вечер она вместе с матерью провела у тюрем за Московскими воротами. Стогнав подельше толпу родных, ожидающих вестей, стражники выводили партию арестованных. Говорили, что их отправляют в Белгород. Никто не верил, ходили слухи, что их увядят в ограги за Вороньей улицей и там расстрелявают. Отца меж ними не было. Какую участь готовила ему контрразведка?

Девушка подходила к Вороньей улице, когда ее догнал запыхавшийся Николай. Легкие росинки лежали над его верхней губой, где чуть обозначился темный пушок.

Нет, это не был ее отец. Николай узнал фамилию, которая уже была у всех на устах. Майоров. Говорят, чекист. Захватили его на пути к Орлу.

Отец тоже уходил пешком в Орел. И его тоже захватили в пути. Но, к счастью, объявление касалось не отца. А где отец? И кто этот человек? Тяжесть в груди все равно не проходила.

Когда Ксана вошла в дом, она увидела мать, сидящую на полу у кровати. Лицом она уткнулась в шершавое сукно одеяла.

— Это не папа! — с порога закричала Ксана. — Мемочка, это не папа! — И громко разрыдалась.

Мать подняла голову, посмотрела на нее блеклыми, заплаканными глазами.

— Все ужасно, Ксюша, все ужасно, — сказала она.

Ксана и Николай стояли у театра. Здесь, у подъезда, днем всегда встречалась молодежь, покупали билеты, ожидали друг друга. Но сегодня даже в полдень было пустынно. Люди торопились скрыться в домах, в переулки.

— Будем читать афиши, — сказала Ксана. — А то заметно, что стоим и чего-то ждем. Вероятно, ведь здесь поедут, если собираются. Это делать за Херсонскими воротами.

Николай пожимал головой.

— Конечно, провезут через весь город. Для устрашения.

Тарахт по мостовой, по направлению к Херсонским воротам проехали подводы с тесом.

По улицам развезжали конные, уныло и страшно стучали подковы по камням пустынной мостовой. Ветер хлопал полотном транспарантов, гнал по городу тучи пыли. Окна домов были закрыты. Случайные прохожие чуть задерживались на перекрестках, оглядывались на гору: не везут ли с Московской улицы...

— Боже мой, что же это такое? — шептала Ксана.

Опушенные глаза Николая были напряженно прищурены, словно он мучительно старался что-то разглядеть внутри, за веками, в самом себе.



— Ксюша,— назвал он ее ласково, как называла мать,— может быть, уйдем?

— Нет,— резко сказала она,— я должна увидеть его. Хочу знать, кого они казнят.

Вдруг все зашевелилось. Казалось, не было людей, но они сразу появились — в окнах, в калитках, в подъездах. Они выглядывали испуганно и тут же прятались, а через секунду снова выглядывали. Шепот пробежал по улице: «Везут!»

На обыкновенных извозничьих пролетках ехали городские с обнаженными саблями. Одна, две, три пролетки. Рядом скакали верховые.

Ксана рванулась на край тротуара и тут же увидела...

На такой же пролетке меж двумя солдатами с саблями наголо сидел человек с туго связанными руками. Прежде всего Ксана увидела эти руки, непомерно большие, рабочие, неотмывающиеся руки, ладонь к ладони, с криво согнутыми пальцами. Они бросались в глаза, уже ненужные человеку руки, которые могли бы делать еще немало полезных вещей: копать землю, столJARничать, сажать деревья, добывать уголь.

Человек сидел, сторблясь, лицо его было совершен-

но серого цвета, как шинель, наброшенная на его плечи.

Сзади ехали еще пролетки с солдатами, по бокам скакали конные. Обгоняя процессию, промчалось несколько автомобилей.

Это было в двадцатом веке. В девятнадцатом году двадцатого века. В одном из центральных городов России. Среди белого дня. Публично.

И те, кто это делал, очевидно, считали, что другие такие же люди, как этот человек со связанными рабочими руками, увидя церемонию казни, устроятся и немедленно пойдут служить им, открытым убийцам. Так они считали. Им почему-то не пришло в голову, что если они и имели сторонников среди пропитых голод казацкой и стрелецкой слобод, вроде того рыжего церковного старосты, то и те сейчас с ужасом глядели на происходящее. И многие из них в тот час поняли, на какие разбойные дела их зовут.

— Это мог быть мой отец,— сказала Ксана глухим голосом.— Проводите меня домой, Николай.

Юноша кивнул головой.

Они шли молча по опустевшей улице, полные мыслей, тяжелых, как камни.

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ

За Херсонскими воротами собирался весь цвет белогвардейщины — генерал Кутепов со своей свитой, арестованные офицеры и их дамы, полицейские; придерживая на груди крест, на извознике приехал священник с дьячком. Ждали генерала Май-Маевского.

Простого народу почти не было, кое-какой сброд толпился за рядами солдат, выстроенных на площади. На специально построенном помосте расхаживал палач, в солдатских штанах, красной рубашке и в маске. Несколько солдат стояли наготове, чтобы помочь ему.

Никто ничего не знал про осужденного. Все, что происходило в эти минуты на площади, походило скорее на какой-то глупый маскарад, если бы не было трагической действительностью.

То, что приписывали осужденному, наводило на мысль, что о нем ничего не известно, что, вероятнее всего, он обыкновенный рабочий или красноармеец такой, каких было тысячи, верных своей Родине, честно служивших ей. Говорили, что он крупный чекист,— это была неправда. Что он прокурор или следователь,— неправда, неправда! Что он известный большевик-коммунист,— все, все неправда! Приписывали ему высокую роль, убийцы рассчитывали вызвать к нему гнев народа. Но народ чудно и затеянно молчал, укрывшись в домах.

Человек стоял и мертвым, серым взглядом окидывал окружающее. С его лба по всему лицу катились капли пота. За всю свою жизнь он прочитал не больше десятка книг, жизнь давала ему мало досуга, он должен был работать своими большими руками. Но в одной из этих книг он, наверно, читал что-то подобное: палач в маске, помост, виселица, разряженная толпа. А может быть, он это видел в кинематографе... Все происходило слишком картинно и надуманно, чтобы быть действительно: скорей это был страшный сон, кошмар, в центре которого находился он сам и от которого никак не мог проснуться.

И когда палач подошел к нему с петлей, он, не в силах превозмогнуть оцепенение сна и сам почти играя приснившуюся ему роль, стоя под виселицей, поклонился на все четыре стороны и сказал хриплым, прерывающимся голосом:

— Я ни в чем не виноват перед тобой, русский народ!

Он думал, что все еще спит; бодрствующий, он не стал бы оправдываться.

Его повесили.

Стоя у дверей своего дома, Ксана услышала далекую барабанную дробь и вздрогнула.

— Это там...

Николай промолчал и только с силой прикусил губу.

— Я теперь знаю, что я должна делать,— твердо сказала Ксана,— что должен делать каждый честный человек...

— Да,— быстро откликнулся Николай,— мне кажется, что сегодня я стал очень жестоким. Я не знал, что могу так ненавидеть, ненавидеть!...Его губы дрожали.

— Коля, скажите, вы всегда, всю жизнь будете помнить?..

— Клянусь!..— горячо и решительно ответил он.

— И я клянусь,— сказала она и отвернулась, чтобы он не увидел ее глаз, наполненных слезами.

Звуки бодрого военного марша разнеслись по улице, оглушительно лягали тарелки и бухал барабан. «Доблестные» белые войска, свершив свое дело, возвращались в казармы. На улицах было пусто, за закрытыми окнами недвижно висели спущенные занавески.

С нег шел и шел, заваливая мостовые и тротуары, шапками нависая на деревьях, на фонарях, тяжелыми козырьками спускаясь с крыш. Гребни сугробов поднимались к окнам. Люди не успевали проталкивать тропки от своей двери, ветер сейчас же заметал следы.

На улице по наезженной колее целый день скрипели сани, фыркали и хрели лошади, отряхивая облепивший морды иней.

Из домов, где стояли денкинские штабы, где размещались солдаты и офицеры, выносили ящики, тюки, корзины, нагружали ими розвалыни. Тарахтели автомобили, с чемоданами и картонками отъезжали генералы, штабские, дамы, закутанные в шали и меха. Денщики свистели возле отъезжающих, что-то уезжали, подавали, укладывали.

Базель отступали.

Ксана со старшей сестрой Лелей металась по городу. Где отец? Что с ним? Девушки часами стояли у тюрем, надеясь хоть что-нибудь узнать; бежали по засыпанному снегом переулком, разыскивали родственников арестованных, которые находились в тюрьме вместе с их отцом. Пытались справиться в контрразведке, в следственной комиссии; их выгоняли, издевались, бранили.

Кто-то надомнил их поговорить с актером, тем самым, который служил в контрразведке. Они дождался его на улице. Актер был вежлив. Он козырнул, спросил фамилию.

— Зайдемте,— показал он подбородком на здание, где помещалась контрразведка,— попробую узнать.

Зашли. Актер поговорил с каким-то прапорщиком, взял у него бумаги, стал просматривать. Тот стоя ожидал. Видно, актер занимал большой пост в контрразведке.

— В списке двадцати восьми нет,— вернул он бумагу прапорщику.— Дайте другие списки.

Тот уже сам просмотрел и, подавая, сказал:

— Во вчерашнем тоже нет. Может быть, в последнем?

Прапорщик отошел к дальнему столу и что-то стал объяснять сидевшему там военному.

Тем временем актер небрежно полистал второй список и, изгибая почесывая мизинцем бровь, сказал девочкам:

— Вот видите, в списке тридцати шести тоже нет.

— А что это за списки?— задонкувшись, спросила Ксана.

В городе говорили: позавчера расстреляли двадцать восемь человек, вчера— тридцать шесть...

Актер посмотрел внимательными глазами на Ксану, потом остановил взгляд на Леле— она была старше — и, вежливо улыбувшись, сказал:

— Это те, которых отпустили в Белгород.

Прапорщик принес несколько шитых вместе листов и молча отдал их актеру.

Тот взглянул на первую страницу, и его брови сразу взлетели вверх. Он медленно произнес:

— Вот. Есть. В этом списке.

Он чуть поклонился и хотел уйти.

— Скажите,— разом закричала Ксана и Леля,— где же отец? Что с ним будет?

Актер приостановился, задумчиво склонил в сторону глаза.

— Их увозят в Белгород...— Он чуть подумал.— Больше, к сожалению, ничего не могу сказать.

Чуть наклонив голову и грустно улыбувшись, он отошел с сознанием, что вот он, поручик контрразведки, такой красивый и благородный, не погнушавшись дать справку дочерям коммуниста, говорил с ними, сохраняя приличие и хорошие манеры, и, более того, был чутко, не сказав, что их отца расстреляют сегодня в ночь.

Он пошел к выходу, озабоченный лишь тем, как бы какой-нибудь прохвост из контрразведки не захватил сани с меховой постлю, которые он приказал денщику спрятать во дворе, в сарае, чтобы вечером отбыть на них из покинутого войсками города.

У выхода его окружила шумная группа офицеров в новых скрипящих ремнях, с новыми кобурами и нагайками на кистях рук.

Ксана и Леля проскользнули мимо, с ужасом думая, что этими нагайками они избивают арестованных.

Куда идти дальше? Что делать? Неужели конец! Пошли к тюрьме. Передач уже не принимали; женщины, дети толпой около ворот и, осмелев от отчаяния, кричали охране:

— Выпустите их, изверги! Завтра красные придут. За все ответите!

Часовых не было видно. А тюремная охрана молчала. Еще вчера здесь не позволили бы так кричать, людей бы выгнали, стреляли бы в них. Но теперь белые уходили. Тюремные надзиратели, в большинстве местные жители, сидели за закрытыми воротами и молчали.

Смеркалось. Стаи воронья с криком кружили и кружили над городом.

Ксана и Леля возвращались домой.

Утапывая до черноты чистый снег, по улице шли потрепанные денкинские, корниловские полки, ехали казаки.

Длинной змеей среди сугробов вилась эта вереница солдат, уходящих за Херсонские ворота, те самые, у которых несколько месяцев назад их встречал хлебом-солью рыжий церковный староста.

Девушки стояли на тротуаре, перекидая, когда можно будет перейти улицу.

— Смотри! — ахнула Леля и толкнула Ксану.— Борис!

Дыхание у Ксаны остановилось.

Среди понурого, разбитого белоохранительского войска шагала небольшая часть — рота офицеров с мальчишескими, почти детскими лицами — гимназисты, полстывшие на погоны, на высокие слова о белой России. Некоторые были в новеньком мешковатом обмундировании, другие в ученических шинелях, с прямыми, плохо прилегающими погонами; всем своим видом они старались показать выправку и отвагу.

Ксана сразу увидела Бориса. Кровь шумно стала биться в уши, в виски. Он тоже увидел ее. Глаза его сузились, они что-то говорили, волнуящее, злое, и был в них вызов, а может быть, страх и отчаяние.

«Боже мой, что же это я! — сказала себе Ксана.— Вот он уходит с денкинцами! А я-то про него думала... Нет, ничего я не думала. Конечно, он уходит с денкинцами! Этого надо было ожидать! Это естественно! Нет, что я, глупая! Я этого не думала. Не ожидала. Нет, нет! Он мне казался лучше. А он вот какой! Пусть уходит! Пусть уходит! Боже мой, да что же это я! Ведь мне все-таки больно, больно.»

Ксана не могла бы объяснить, что за отношения были между ними. Борис был много старше, он

окончил гимназию и собирался ехать в Москву учиться. Ксана столкнулась с ним в каком-то кружке в Доме юношества, и с первой минуты он заинтересовал ее. Борис представлялся ей необыкновенно умным, тонким человеком. Всегда окруженный сверстниками, он сначала почти не замечал Ксаны, хотя ей казалось, что все, что он делает и говорит,— это для нее, что каким-то боковым зрением он ее видит, чувствует, и каждое его слово, каждый поступок рассчитан на то, чтобы его слышала и видела Ксана. Несколько раз они перепарывались словами о спектаклях, которые шли в городском театре, об актере, любимце молодежи, пользовавшемся шумным успехом.

Один раз днем в городском саду, когда Ксана сидела на скамейке у театра и ждала подругу Миру, он подошел к ней и сел рядом. Они говорили о чем-то пустом и незначительном, но так страшно замирало сердце Ксаны, так дрожало все в ней, что она не выдержала, вскочила, чтобы уйти. Он попытался удержать ее за руку, но пальцы его дрогнули, он словно испугался чего-то и отпустил ее. Ксана увидела вдруг тяжелые, потемневшие его глаза и быстро убежала.

Каждый раз, встречаясь потом в Доме юношества, они, едва кивнув друг другу, смущенно проходили мимо, словно меж ними была какая-то тайна. Николай не любил Бориса и говорил о нем Ксане как о человеке с темной душой, способном на недоброе, опасное.

И вот так оказалось.

Офицерская рота уже прошла, а Ксана не могла побороть в себе странного чувства — и сожаления о чем-то и ужаса. Все, что происходило при денкинцах: казни, расстрелы, грабежи,— все это теперь было связано с Борисом.

«Боже мой,— думала она,— такое горе вокруг, такая страшная жизнь, а я думаю об этом ненужном мне человеке!» — И она старалась думать о Николае, словно искала у него защиты; в нем было все лучшее — добро, ясность, чистота.

Леля молча ушла вперед, Ксана плелась за ней. По улицам разбегались группы конных, спрашивали астречных, где живут коммунисты, спешили на прощание пограбить, побесчинствовать. Люди шаркались от них, прятались в ворота.

Домашка доушек встретила мать, смотрела в их лица распухшими, страдальческими глазами, ничего не спрашивала.

Не зажгая котилки (надо было беречь конопляное масло, в котором горел фитилек), Ксана сидела у окна, пока темнел и залила улицу. Мать сидела рядом и молчала. В соседней комнате спали младшие дети. Леля тоже ушла в свою маленькую комнату и уснула.

Внезапно кто-то постучал в окно. Мать вышла в коридор открыть и через несколько минут, тяжело дыша, с испуганным лицом являлась в комнату.

— Дети! — закричала она, задыхаясь.— Отец! — И бросилась ему на шею, едва он вошел.

Он был в белье и босой. Снег лежал на его голове и открытой груди. Он кричал и жалко улыбался, слезы стояли в его глазах.

Ночью тюремщики подняли смертников с нар и, не давая одеться, торопливо погнали вниз по лестнице. Во дворе их ожидали денкинские палачи. Каждую ночь в последнее время они приходили сюда творить расправу.

Но в городе уже зашлепали выстрелы: красные прорывались со всех сторон. Оставались еще де-

никонцы высказывали из домов, убежали дворами, переулками, пустырями.

Мгновенно опустел и тюремный двор, палачи пустились наутек. Тюремщики — местные жители, — боясь возмездия красных, открыли камеры, ворота и сами разбежались по домам.

Через весь город отец шел по сугробам, прижимаясь к домам, боясь, как бы какой-нибудь задержавшийся белогардеец не разрядил в него свой револьвер.

Заперли дверь. Растирали отцу грудь и обмерзшие ноги. Радовались, что белых гонят, что идет Красная Армия, вспоминали пережитое, улыбались друг другу и плакали. Говорили и говорили.

Кто-то громко забарабанил прикладом в рамы и двери. Маленький домик дрожал.

Испуганные, вскочили и заметались — отец, мать, дети.

Из тюрем? Хватились? Арестовать? Обыск? Что делать? Не открывать? Может быть еще хуже.

Мать открыла и отступила.

Вошли несколько казначих офицеров в башлыках, с нагайками, с револьверами в руках и два солдата с ружьями. Потребовали света. Пришлось зажечь кухонную лампочку, где сберегалось немного керосина.

Не разговаривая, офицеры полезли в шкафы, в сундуки, доставали вещи, снимали с вешалок пальто, пальца, относили на подводу. Просто гребили.

— Что вы делаете? Что вы делаете? — заплакала мать. — Вы же видите, какая бедность в доме!

Офицеры с угрозами отмахивались плетками и сверносиловили. Солдаты лезли по ящикам в кухню, забрались на чердак.

И вот все вещи вынесены, в доме не осталось ни одежды, ни обуви.

Вдруг грабители обратили внимание на отца. Окружили, грозя револьверами.

— Почему не уходишь с нами? Красный? Заберем и расстреляем.

Мать бросилась к ним, рыдая, умоляя:

— Оставьте! Не мучьте нас! У нас дети.

Стали требовать денег. Денег не было. Денег давно не было. Жили в нужде, впроголодь.

— Тогда молись богу! — ревел черноусый в башлыке и приставил дуло револьвера к виску отца. Чубатый направил револьвер с другой стороны.

Мать закрыла собой отца, отнесая его всем телом назад, в отчаянии закричала:

— Стреляйте тогда и в меня!

Ксана не выдержала, стала впереди, распростерла руки:

— В меня стреляйте, оставьте отца!

Из маленькой, темной комнаты закричала, не понимая себя, Леля:

— Есть, есть деньги! Возьмите!

Она вспомнила, что в ее заветной шкатулочке хранится пять царских серебряных рублей. Их уже давно не было в обращении, этих денег, и она берегла их вместе с венальной фатой матери и фотографии ей бабушки.

Соскочив с постели в одной рубашке, семнадцатилетняя девушка, не думая о себе, рывась в шляпной картонке, где хранились ее сокровища.

Один из бандитов схватил со стола лампочку и шагнул в комнату Лели. Но черноусый, отталкивая его, ворвался к Леле и захлопнул за собой дверь.

Оперевая мать, Ксана бросилась к двери, кто-то из солдат вытнул ее нагайкой.

Отец тяжело охнул, неожиданно ударил по лампочке и отшатнулся. Брызнуло стекло. Свет погас. Чубатый, что держал револьвер у виска отца, вы-

стрелил уже в темноте. В тесной комнате началась странная, бессловесная суета и толкотня.

— Леля! Лелечка! — в ужасе позвала Ксана и, всем телом расталкивая ищущих выхода солдат, втиснулась в комнату сестры. Мимо нее метнулась Леля, которая стояла, прижавшись, в уголочке у самой двери, пока бандит в поисках ее шарил по комнате.

Натыкаясь на кого-то, ощутив на секунду поддерживающую руку отца, Ксана побежала за сестрой в кухню, рванула крючок с двери, и Леля бросилась через двор по сугробам в сад.

А в квартире в темноте ничего нельзя было разобрать. Грабители суетливо толкались, не находя выхода, стреляли вверх, очевидно, боясь перестрелять друг друга.

Мать распахнула дверь, и наконец вся банда выскочила на улицу. Слышно было, как они погнались подводу.

Ксана, плача, бегала по саду, звала:

— Леля, Лелечка! Ушли!

Заноченевшая, дрожащая от холода и страха, как была в одной рубашке, Леля стояла в снегу.

Наконец все собралось. Заперли двери. Зажгли свечки. Оглядели друг друга. Живы! Измученные, усталые, сели, прижавшись, все на одной кровати. Плакали, молчали, не могли сдержать дрожь. Пар дыхания стоял в холодном воздухе. До рассвета не гас огоньки.

Не пороге валялся обретенный венок.

Было уже почти светло, когда кто-то тихо-тихо постучал в окно. Ксана прижалась к стеклу. Кто это мог быть? Она всмотрелась. Неужели Николай?

Накинув не понадобившийся грабителям старый кухонный халат, Ксана выбежала.

— Коля! — прошептала она, всем сердцем ощущая, что среди этих бедствий и тьмы есть дорогой и верный ей человек.

— Красные вошли! — сказал, улыбаясь, Николай. — Белых больше нет, Ксана... — Он сжал ее руки.

— Да! — пожимала головой Ксана, боясь говорить, чтоб не раздражаться от всех потрясений этой страшной ночи.

— Я ухожу с передовыми частями, Ксана. Будем теперь их гнать и гнать. — Он помолчал. — Я не знаю, увидимся ли еще... И когда? — Он опять помолчал.

Ксана прислонилась к калитке. Ее била дрожь.

— Ксана, — сказал он каким-то другим, тихим голосом. — На прощание я хочу тебе сказать... У меня в жизни всегда было самое дорогое — это Россия. Теперь это вдвойне — Россия и революция. Я за них готов... Вот... И еще мать... И... вы, Ксана. Всегда. Что бы ни было... — Голос его прервался. Он снял фуражку и опустил лицо. Потом взял ее руку и прижался к ней щекой, лбом, губами.

Ксана не пришла в голову поцеловать его. Душа ее была переполнена болью, слезы заливали лицо, и она вытирала их полою старого материнского кухонного халата.

ГЛАВА III

НОЧЬ

Плезд идет медленно-медленно. Потрескивают в пещурке дрова. С двух сторон в теплушке нары, там спят люди.

Завернувшись в шинель, уткнув в розовую подушку лысеющую голову в веничек редких светлых во-

лос, спит комиссар труппы Адоньев. Весь вечер он напевал приятным баритоном: «Гори, гори, моя звезда, звезда любви заветная...» Глаза его мечтательно смотрели через головы слушателей в маленькое окошечко над верхней парой, потом он замолчал и, не поужинав, улегся спать.

Это он, Адоньев, в Курске пришел к Ксане и спросил:

— Вы играли в клубе Ленина?

— Да,— удивленно ответила Ксана, прикрывая дверь в комнату, где лежал в тифу отец.

Адоньев был весь в снегу и внес с собой новую волну морозного воздуха, а в квартире и так было не топлее, изо рта вырывался пар и долго стоял в воздухе. Отец стонал, срываясь в бреду с постели, куда-то хотел бежать.

Мать сидела возле него, смотрела вокруг бледно-голубыми заплаканными глазами, тихою кочкачала головой в такт своим мыслям. Все голодали, денег в доме не было. Разоренный город был нищ, как и они. Что могла сказать мать Ксане? Требовать? Жалобно просить, чтобы не уезжала? Да разве Ксана послушает? Многие уходили с Красной Армией... «Да, может быть, это и лучше,— думала мать.— Пусть едет, у каждого сейчас своя судьба».

Клуб Ленина! Боже, как давно это было! Мир, где она, Ксана, жила главной стороной своей души. Она приходила туда после школы. Здесь читали стихи, репетировали пьесы. Здесь она играла Марину во «Власти тьмы», репетировала Аксую в «Лесен». А Мира, верная подруга, молча сидела в зале и слушала ее, а потом подробно рассказывала, как играла Ксана. Ей все нравилось. А столько было неудачного, смешного... Однажды Ксана вышла на сцену читать стихи. Зал был полон красноармейцев. И вдруг где-то посредине она забыла текст. Два раза начинала, но не могла вспомнить и в позором убежала со сцены. А в другой раз она, выходя на сцену, упала. Все смеялись, она одна плакала. Потом прибрехала Мира и тоже плакала. Но было так много и прекрасного, от чего радостно дрожало что-то в душе. Она как-то читала свои собственные стихи, ой аплодировали и кричали «еще!» И после «власти тьмы» ее вызывали, и она не знала, куда деваться от волнения и восторга, и не выходила, пока режиссер не вывел ее на сцену.

В клуб Ленина— это было еще в восемнадцатом году— пришли однажды мальчики из восьмого класса их школы, с ними был Николай. И они все ждали ее после спектакля и подарили цветы. А Николай с тех пор стал всегда встречать ее у школы и провозгласить, куда бы она ни шла...

А Галина Николаевна, режиссер, когда к ней приходили за кулисы знакомые, всегда показывала им Ксану и говорила о ней: «Это наша самая юная артистка, еще только в шестом классе учится».— И шептала им, лукаво глядя на Ксану: «Способная девочка».

А потом город захватили белые, и не стало ничего: ни клуба Ленина, ни школы. Школа была, только ее, Ксану, исключили, потому что отец сидел в тюрьме. А в клубе Ленина стояли денкинские солдаты.

На другой день после возвращения красных Ксана побежала посмотреть, что там, в клубе Ленина. Боже, как грязно и разорено все было! В окнах вместо стекол торчала фанера, в зале на полу валялись кучи грязной соломы, стулья были поломаны. Занавес, видимо, обрывали с силой, сверху на проволоке еще болтались ключи зеленого бархата.

Конечно, клуб Ленина восстановят, и снова будут репетиции и спектакли, но когда? Город так разбит, разрушен, такая нищета кругом...

И вдруг является человек и спрашивает:

— Вы играли в клубе Ленина? Я комиссар труппы. Мы надеемся, что вы войдете в труппу и поедете с нами на фронт. Вас зовут Ксана?

— Да!— только и могла ответить она от зазлестнувшего ее волнения.

— Ну так вот, Ксана, складывая свои вещички, что там тебе нужно с собой взять,— и поведали,— сказал Адоньев уже другим тоном.— Много не бери. Двэтри смены белья. Шинель дадим и обмундирование. Одним словом, все будет как надо. Ну, а делать-то придется все: и спектакли играть и за ранеными ходить, да мало ли что. Не бойшься на фронт-то ехать? Сколько тебе лет?

— Шестнадцать,— ответила Ксана.— Я не боюсь. Что же мне бояться?

Она не боялась. Она только с тоской думала, что отец лежит в тифу, мама истучена, трудно будет Лею. Лея только на год старше ее, доучиваться ей тоже не пришлось, надо работать, помогать семье. А еще есть двое младших— сестра Люся и маленький братишка Володя. Ему всего шесть лет, у него обмороченные синие руки. В сильные морозы он стоял в очереди за хлебом и обморозил. Володя— главный добытчик топлива в семье. Ночью он ходит по сдам и выламывает из заборов доски. Доски трещат, и кто-то из тыма ругается, спешит на этот треск, а Володя бежит по сугробам и тащит своими синими ручонками украденную доску. А другого топлива нет. Все так делают.

...В тот день, когда пришла подвода и когда Адоньев усадил Ксану и поставил ее корзинку, Володя выбежал на улицу и стоял на снегу, пока подвода не скрылась из глаз. На голубовом лице его были пупырышки от холода, и из коротких рукавов курточки выглядывали обмороченные руки...

Нет, нет, не надо об этом. Ксана гонит эти воспоминания.

...Поезд идет совсем тихо. По ночам банды разбирают пути. Днев Ксана видела горевшие остоны вагонов, это было у какого-то моста, где круты и высокие откосы.

Ксана еще час дежурить, потом ее сменит Зойка. Это черноволосяя, черноглазая бойкая девушка, над ней все любят подтрунивать. «Зойкина коммуна»— это она, Зойка, и ее трое друзей, Зойка— актриса, а они— рабочие сцены, декораторы и одновременно актеры на выходные роли: Толя, Коля и Тарасов. Их почему-то так зовут— двоих по именам, а старшего из них по фамилии. Они же основная брелая сила в труппе. Мальчики, как верные рыцари, заботятся о Зойке, устраивают ее, получают, добывают продукты, готовят пищу— они питаются вместе, а Зойка— веселая лентяйка— хохочет, командует ими да поет. Каждое утро она будит всю труппу своим басом: «Жили двенадцать разбойников, был атаман Кудеяр...» «Кудеяр, Кудеяр, Кудеяр»,— дискантом быстро подхватывал Толя, будто трезвоный в колокола. Так с этой песней и вставали.

Поезд резко, с грохотом останавливается. Что случилось? Ксана прислушивается. Дверь открыта: нельзя будет виден огонь пещури. Снаружи слышны голоса, но ничего тревожного нет, значит, будить никого не надо. Паровоз несколько раз дергает, не может сдвинуть состав, наконец громыхают буфера, поезд пошел.

Ксана снова усаживается у пещури, кладет рядом обрез. Она уже знает, как с ним обращаться, днем мальчики из «Зойкиной коммуны» учат. У всех винтовки. Ей не хватало, и дали обрез. А из него стрелять трудней.

Ксана подкладывает шепок в пещуру, оглядывает



теплушку. Все мирно спят, похрапывают. В углу стот винтовки.

И ей делается тревожно: какой необычной жизнью она живет! Впереди неизвестность, фронт, здесь эти жутковатые ночи с далекими выстрелами, теплушка, котелки с кашей. И эти люди, такие разные, и все, как одна семья.

Когда Ксану впервые в тот вечер привез комиссар Адоньев в какое-то помещение перед погрузкой в поезд, она заволновалась, больно защемило сердце.

На узлах, чемоданах и тюках сидели артисты, и все — старые и молодые, мужчины и женщины — в солдатских ватных штанах, шинелях, каждый держал возле себя винтовку. Кто-то, прикурнув среди вещей, спал. Ксана узнала режиссера городского театра Скворцова, его жену актрису Емельянову, с крупными чертами болезненного, бледного лица. Они сидели на полу и курили махорку.

Женщина лет тридцати, в белой шелковой кофточке и ватных штанах, держа в зубах мундштук с самокруткой, заплетала короткие светлые косы. К ней-то и подошел Адоньев Ксану.

— Бери под опеку, Надюша, видишь, какого птенчика привел.

Надя хлопнула Ксану по плечу, весело сказала: — Здравствуй, дочка.— И хихнула Адоньеву: — Одет ее надо, а то что за штатский вид? — Сейчас и оденем.

Костюмерша Дуса принесла шинель, брюки, гимнастерку, валенки, и вместе с Надей они почти на глазах у всех переодели Ксану.

— Ты не пугайся,— шутила Надя,— здесь ко всему привыкать надо. Вот махорка в кисете, кури. По-

том тебе косы обрежем. На фронте, знаешь, беречься нужно... А то тифы гуляют... Сейчас можно поспать. Когда еще грузиться будем! — И она развернула и растелила на чемоданах роскошное атласное одеяло.

— А я одеяла не взяла,— сконфуженно сказала Ксана.— Да у нас лишнего нет, все денжники забрали.

— Ерунда,— отозвалась Надя.— Как-нибудь поделимся. Будем жить коммуной. Ладно? Кто захочет, к нам пришвертуется.

— Может, она есть хочет? — спросил старый, тучный актер Романос.— У меня сало есть.

— Давайте сало,— сказала Надя и, перешагнув через спящих, взяла у него кусок.

Тарасов, человек с грубо вырезанными чертами лица, взял котелок и молча пошел за кипятком.

Ксану накормили коллективно и уложили спать на роскошное одеяло.

Так началась ее жизнь в труппе. В теплушке мужчины разместились на нижних нарах, женщины — на верхних. Только «Зойкина коммуна» не стала разлучаться, так они и спали рядом — трое верных ребят и их командирша Зойка, запеленатая в свое одеяло.

Эта простота нравов напугала тогда Ксану, ей казалось, что люди здесь все испорченные, прошедшие огонь и воду, все они курят, почти не стесняются друг друга и разговаривают как-то слишком откровенно и просто. Ксане тогда казалось, что и она порывает со всей своей прежней жизнью и тоже станет испорченной, разбитой дезонкой, и дома, узнав об этом, будут ужасаться и плакать. Но теперь уже она сама смеялась над своими страхами и опасениями; она поняла людей, окружавших ее и опасивших ей семью. Товарищество — вот что связывало всех, товарищество и верность долгу. А

что касается нравов, она привыкла к ним так же, как и к кочевой жизни.

Днем шли репетиции. Здесь все было по-другому, не так, как в клубе Ленина. Там Галина Николаевна разбирала каждую фразу, учила вдумываться в смысл ее, делила роль на куски, объясняла взаимоотношения действующих лиц.

Здесь читали по тетрадке или репетировали под суфлера целое действие. Потом Скворцов делал все замечания. Иногда скажет: «Вы не в образе». Ксана не знает, что это значит, спросить неловко: здесь не студийцы, а актеры.

Ксана мечтает сыграть какую-то прекрасную роль. Может быть, «Чайку»?

«Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, лауки... словом, все жизни, все жизни...» — шепчет печальный круг, угасли...» Что в ней, в этой фразе? Как ее понять? Как понять, что хотел сказать автор этой пьесы а пьесе? Бедный Треллеви! И как понять эту молодую женщину? Она любима. Но думает о другом. У нее прозрачные глаза. Так кажется Ксане. Надо играть ее с прозрачными глазами.

А может быть, сыграть другую роль, тоже прекрасную? Ксана мысленно читает: «Чул! Смеются. А я стою и чуть не плачу с горя...» Прав пригожий Лель. Беги туда, где любят...»

Ночью, когда все спит, под стук колес мысленно читает Ксана наизусть один за другим любимые монологи.

С нар поднимается Скворцов, тень его высокой фигуры мечется по теплушке.

— Замерз,— говорит он.— Идите ложитесь, я повою.

— Как! Разве можно с поста? Что вы, Алексей Степанович! — удивляется Ксана.— Днем нас одному учат, а ночью всегда кто-нибудь предлагает подменить.

Скворцов зевает.

— Ну, сидите,— говорит он, потирая руки над печуркой.

Ночь. Идет поезд. В шелку видно: снег и тьма. Лежит вокруг огромная страна Россия, ни огонька кругом, ни звука.

А в теплушке уютно. Тихо. И вдруг что-то сыплется, сухое, как камни, быстро-быстро сыплется: та-та-та-та-та...

Ксана вскакивает. Да ведь это пулемит!

Поезд ускорила ход, потом фразу в лаглом стал. Слышен шум, крики.

— Вставайте, вставайте!

И вот уже все на ногах. Ксана заливает печурку. Мальчики из «Зойкиной коммуны», актер Крамской, худой, длинный мужчина, с вогнутым, словно мясяц, профилем внутри, хватают винтовки, отодвигают дверь и соснальзывают в тьму.

В теплушке сразу становится холодно. Дрожь бежит по телу.

— Остальным не выходить! — командует Адоньев и сам прыгает вниз.

Где-то топочут и ржут лошади. Кто-то кричит громко и страшно. И опять — та-та-та-та-та...

Узкоглазая женщина с монгольскими скулами, с русским курносим лицом и французской фамилией, актриса Клава Понсет зябло жмется и ахает:

— Батюшки мои, как жутко! Вот она, война!

Становится тише. Кто-то несколько раз стреляет из винтовки. И слышно, как Толя Дмитриев кричит:

— Дай ему из винта! Дай ему! У меня палец...

Вместе с другими Ксана выглядывает из теплушки. В темноте негромко зовет Адоньев:

— Кто там есть? Давайте сюда бинты.

Толя Дмитриев лезет в теплушку. Пулей ему задело палец, он закутнул его грязным платком.

Ксана ищет коробку с бинтами и йодом и не может найти. А ведь сказано, чтоб всегда стояла у двери.

Надя Ласская, находчивая, ловкая, торопливо роется в своей коробке, что-то вытаскивает, рвет, рвет на полосы. Свет комок волос Ксане, и они вдвоем прыгают вниз и бегут вдоль вагонов.

Группа людей тащит кого-то, подсаживает в теплушку.

— Вот бинты! — кричит Надя.

Все расшумуется, думают, что пришли сестры милосердия.

На снегу лежит человек. Надя быстро с чьей-то помощью — она все умеет! — срывает с человека шинель, рубаху и тут же у вагона перевязывает белую юбку по тьме груди. Ксана поддерживает раненого, а он все тяжелоет, все тяжелоет у нее на руках, уже нет силы держать его, руки все в крови.

Мужчины приподнимают раненого, укрывают шинелью и втаскивают в вагон.

Надя и Ксана перевязывают другого. Третьего. Бинтов больше нет.

— По вагонам! — кричат в темноте.

Люди разбегаются. Сзади кто-то подталкивает Ксану в чужую теплушку. Она слышит голос Нади, ее успели поднять почти на ходу поезда в другой вагон.

Дверь теплушки захлопнута. Зажигают фитилек в бутылке. Здесь такие же нары, на них солдаты. На полу на соломе укладывают раненых. Какой-то солдат, совсем молодойенький, бьется и скатывается с соломы на грязный пол. Гимнастерка его в крови. Бинтов нет. Пожилой солдат в рваной барашковой шапке достает из сумочки мятую рубаху, дрожащими руками дает ее Ксане.

— На, перевяжи его, сестрица.

— Что его перевязывать! — глухо и сердито бросает кто-то из темноты.— Кончается он. В живот раненный.

Ксана мечется, не зная, как подступиться к корчащемуся в муках человеку. Она макает край рубахи в ведре, где плавает лед, и вытирает ему лицо. Раненый не дается, уткнулся лицом в пол. Ксана старается повернуть его лицом вверх, мягкие, холодные руки его бессильно переваливаются на сторону. Он глотает воздух. Рядом стонут и просят пить.

Ксана никак не может разорвать рубаху. Тот же красноармеец в барашковой шапке помогает ей. Его руки все так же дрожат, когда он приподнимает раненого, чтобы Ксана могла перевязать. Она перевязывает неловко, кое-как, понимая, что делает это плохо, неправильно, и никакой пользы от такой перевязки нет. Ее охватывает отчаяние и стыд. Раненый захлебывается, что-то булькает в его горле, потом он затихает и лежит споньяно, будто и вправду померла его перевязка.

У Ксаны чуть отступает от сердца: наверное, ему все-таки стало легче. Но тот пожилой солдат встает с коротком во все рост и снимает свою рваную шапку.

И тогда, поняв, что произошло, Ксана громко, не стыдясь, стонет и плачет.

— Молодычка,— силно говорит кто-то на нарах,— не видела еще смертей-то.

— Ладно, будет тебе выть! — кричит другой голос, зло и грубо.

Ксана умокает, слезы бегут по ее лицу, она вытирает их липкими ладонями, но, ощутив острый

запах крови, плещет из ведра воду на руки и омывает лицо.

Поезд мерно постукивает. Раненые стонут. Они лежат рядом с мертвыми.

Щели в вагоне начинают светиться, наступает утро. За вагонами лежит большая страна России, поля, покрытые снегом, голые леса, серые, нищие деревни. Там голод, холод, тиф.

До фронта еще далеко.

ГЛАВА IV

АНГЕЛЫ

Хозяйка большой избы, где остановилась почти половина труппы, добавляла в молочную пышную кашу. Так пышно разварилось в молоке пшено, так сладко пахло маслом, что всем казалось, будто никогда ничего вкуснее не едали.

С тех пор как артисты покинули телушку и тащились обозами, во всех деревнях, где останавливались на ночь или на несколько часов, хозяева бедовали, что солдаты все изчисто съели, хлеба куса не оставили. «Тай ничего немає», — горько сетовали крестьянки, и уж то хорошо было, если могли они поставить на стол чуточку неочищенной картошки или пустых щей. А малыши — крестьянские дети — и сами были рады заглянуть в скудный красноармейский котелок.

А здесь на столе, кроме каши, красовались белые пышные «пшаняницы», хлеб, куски застывшего жареного сала.

Актеры уплетали ужин, перемигивались и похвалялись.

Хозяйка добавляла и приговаривала:

— А где же вас так вкусно не накормят, как в моей хате. Чи не правда?

Адоньев поел раньше всех и вышел прозедать остальных: как-то они устроились, накормлены ли? Наверное, мало потрели эту деревню в войну, если здесь так сытно. Пусть поедят люди.

Скоро он вернулся с вестовым из политотдела дивизии, тот только что прибыл с приказом труппе ехать дальше, до другого пункта.

Как ни ворчали актеры, как ни устали лошади, а приказ надо было выполнять. Снова втаскивали на подводы снятые сундуки с театральными имуществом, запаковывали свои корзинки и чемоданы. Некоторые пытались было прикурнуть на подводах, но лошадей надо было беречь, пошли пешком.

Выехали, когда на небо уже выплыла луна, чистая, холодная, необычно большая. Сильно морозило. Над обозом стоял пар, казалось, что извисли облака.

Пустые белые поля уходили за горизонт. Снег сверкал миллиардами блесток, как будто в него насыпали битого стекла.

Наконец показался лесок. Он лежал справа, черный, сумрачный; с другой стороны все так же белела гладь. За леском потнулись кресты погоста. Неожиданным в безлюдной снежной пустоте казалось это деревенское кладбище. Но в глубине за кладбищем мелькнуло несколько бледных огоньков, видимо, там было село.

Всем хотелось скорей свернуть к избам, забраться на печь или, укрывшись шинелью, заснуть на со-

лоне, которую постеляют на полу. Но нет, надо было ехать дальше.

Едва добрались до назначенного места, многие, зайдя в первую попавшуюся избу, уснули тут же на лавках, не раздеваясь: сон сморил людей.

Ксана так хотела спать, что даже по избе шла с закрытыми глазами, и очулась, только услышав чей-то жалостливый голос:

— И куда же такой малой хлопчик с вами? Мать, небеса, глаза выплакала. Чи сбежало дите из дому?

Ксана сразу поняла, что это о ней, ее часто в деревнях принимали за мальчика, она и пострижена была коротко, с трудом найденная по ее размеру кепка прикрывала пышные белокурые прядки.

Не снимая кепки, она полезла на печь. А хозяйка продолжала удивляться.

— Чи уже свет клином сошелся? Бабу старую, или, извиняйте, женщину, зачем с собой возите? — показала она на старого актера Романова.

Ксана фыркнула. Бритый расплывший старик, с покрасневшим от мороза лицом, укутанный длинными шарфами, был действительно похож на старую женщину или на толстого скендза.

— Артисты мы. Поняла, мать? Артисты, — объяснял ей Тарасов, — спектакли будем играть, ну, то есть представления давать.

— А-а! — закивала головой женщина. — Фокусы, значит, будете показывать. У нас тут табор стоял, ох, лоако же цыгены предстэзляли! И ведьмадь у них был.

— Медведь, медведь, мать, — добродушно, сквозь дрему поправил ее Скворцов.

— Та ни! — сердито запротестовала женщина. — Медведь-то — зверь лесной, а ведьмадь — он хозяин: хочет казнить, хочет милует.

Убедить ее никто не захотел. Изю всех углоз слышалось уже сонное сопение, кто-то всхрапывал.

— А вечерять чи не будете? — удивилась словоохотливая и гостеприимная хозяйка. Видать, и здесь жилось недурно.

Ей никто не ответил.

На печи было жарко. Там уже спали Дуся и Нада Ласская. Ксана сняла сапоги, ремень и сразу как провалилась. Дуся спросонок динула ее локтем, но Ксана уже не смогла шевельнуться...

— Ксюта, Ксюта, — тихо шептал кто-то, — проснись, дочка, очень нужно. Тихо, тихо, молчи! Проснись, Ксана!

Ксана открыла глаза, и сна как не бывало. Над ней склонился комиссар Адоньев. Он стоял на лавке, и голова его возвышалась над печью.

— Слышишь, Ксана. Повторять некогда. Дело серьезное.

— Ну? — встрепенулась Ксана.

— Чи-ш! — погрозил Адоньев. — Скоренько встань, оденись, обуяй, пойдешь до того села, где погост, поминишь? Одним духом надо бежать, поняла? На, револьвер возьми! В карман спрячь, на всякий случай.

Ничего не спрашивая, Ксана быстро оделась. У нее не поладил зуб на зуб. Казалось, что в избе сразу стало холодно.

— Добежишь — комиссара спросишь, точно не знаю, какая там часть стоит. Скажешь, тихо только, чтоб другие не слышали: у нас в амбарах танкисты стоят с пулеметами, чуть сеном прикрыты. Амбары на замках, но ребята углядели. На чердаках по избам — мужики. Маховцы ли, «зеленые» ли — не знаю. Скажи: наши хлопцы не карсулах стоят. Вы-

стро. Побежишь по за избами, в тени, а то луна большая. Поняла?

— Да,— прошептала Ксана.

— А из нашей избы выйдешь, сделаю вид, вроде по нужде. За тобой следить не будут, тебя за дите приняли, им себя выдавать тоже не хочется. Не чают, как мы отсюда уйдем. Пароль в нашем селе — курок, отзвон — Киев, запомнила? А мне тут надо быть. Если что, будем держать их. Пускай скорей людей присылают. Сила у нас небольшая.

Ксана вышла во двор, громко позвала. Пошла за сараи.

Молочно-белая луна, казалось, еще выросла. Она плыла медленно, спокойно, в ярком свете ее четко обрисовывались каждый куст, каждая соломинка на дороге. Снег скрипел так громко, что Ксана не слышала ничего, кроме этого скрипа. Прячась в тени изб, медленно вышла за деревню в поле. Тут уж кругом лежала белая снежная скатерть. Ксана побегала прямо по дороге, всей спиной чувствуя за собой затаившуюся деревню. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, это оно так скрипит: крики, крики, крики...

Чтобы сдержать растущий страх, она остановилась, передохнула и заставила себя пойти медленно.

«Заметили бы — убили,— подумала она.— Им и в голову не пришло, что артисты что-то узнали».

Почему-то ей вспомнились волки, которые зимой нередко выходят стаями. Она вглядывалась в белые снежные поля, оглянулась на деревню, но в морозной мгле ее уже было плохо видно. «Только бы никого не встретить»,— подумала Ксана.— Погост недалеко. А за ним и та деревня». Волки не выходили у нее из головы.

И вдруг далеко впереди она увидела что-то темное, несколько темных точек, они приближались так быстро, как человек идти не может. Волки!

Они были еще далеко, но впереди уже завыдался погост. Не помня себя, Ксана бросилась вперед, чтобы успеть забежать на погост, словно там, среди могил, она могла укрыться от волков.

Она перескочила через неогороженный холмик и сразу провалилась в снег по пояс. Видно, там была яма.

Все так громко скрипело и трещало вокруг — и снег, и сердце, и какава-то ржавая жесть, и еще что-то, чего нельзя было понять и что вдруг обернулось ясным размашистым конским топотом и головами.

— Сюда побег! Заходи с той стороны!

— Может, собака! — откликнулся другой голос.

— Не. Человек. В шинели. Без ружья».

Ксана вжалась в снег и застыла. «Они! Бандиты!» — подумала и сама не заметила, как выхватила револьвер, сжала в руке.

«Подойдут — буду стрелять».

— Ну, что тут! — словно ударил ее знакомый хриплый голос человека, который только подбегал. Слышно было, как плыла и тяжело дышала под ним лошадь.

Боже мой, да ведь это Суржак, комиссар дивизионной школы Суржак! Простой, грубоватый рубака с сабельными шрамами на лице, Суржак, который так старался быть величавым и воспитанным при встрече с актерами и говорил так мало и односложно, боясь выпалить привычные для него крепко прощенные слова.

— Товарищ Суржак! — закричала Ксана, барахтаясь в снегу.— Товарищ Суржак, это я, Ксана, из группы.

— Как пошла сюда? — захрипел Суржак.— Подняй ее в седло,— приказал он ординарцу.

Ксана отмахнулась от спрыгнувшего с коня солдата.

— Я думала, волки,— стараясь сдержать дыхание, не своим голосом объяснила Ксана.— Мне надо вам сказать очень важное, я поэтому и вам и шле».

Она оглядела трех красноармейцев. Те тронули лошадей и отыехали на несколько шагов. Ксана быстро передала Суржаку все, что велел Адоньев.

— Так. Все ясно,— сказал Суржак и махнул конным.— Давай, Башмаков, езжай сейчас в это село,— он показал за погост, где раньше виднелись огоньки, а сейчас было темно,— перескажи Крушенке, чтоб быстро собрался, взял человек пять хлопцев — и прямо к Адоньеву. Я уж там буду. Перескажи: в амбарах тачанки с пулеметами. Ну, марш, аллюр три креста!

Конный сорвался с места и по белому полю, взмывая вокруг себя снежную пыль, помчался в село.

— А ты, Семен, бери ее в седло и вози обратно, к нам. Устрой там, пусть хоть в мою избу. Сена навали, пусть артистка отдыхает. Рысью! — командовал он и, запорхав Ксану снегом, вместе с красноармейцем поспекал по луиной дороге в ту деревню, где ждал Адоньев.

А Ксана ехала за спиной ординарца куда-то в неизвестное село, где стояла дивизионная школа. Все в ней еще билось и горело, и она не могла спокойно продумать, что ей делать и правильно ли, что ее везут в чужое село отдыхать.

Ехали долго, ей даже стало казаться, что все это — Адоньев и тачанки — было давным-давно, а теперь все спокойное, никаких тачанок нет и люди вокруг мирно спят.

Показалось наконец темное село.

— Ладно будет? — спросил ординарец.

Ксана не поняла и переспросила.

— Доберешься теперь,— объяснил он,— в любую хату иди грейся. Тут недалеко. А мне надо комиссара догонять. Как он без меня будет?

— Конечно, конечно,— согласилась Ксана.— Я дойду.

Она неловко соскочила с лошади. Ординарец, не задерживаясь и не оглядываясь, поспекал обратно — догонять Суржак.

Ксана потопталась на месте, поглядывая на темные хаты, потом обернулась к удаляющемуся красноармейцу, и ей вдруг стало обидно, что она здесь осталась в безопасном месте, в то время, как все ее товарищи будут, очевидно, участвовать в важном и серьезном деле. «И зачем я сюда приехала!» — пожалела она.— Надо было ехать с Суржаком».

Минуту подумала, она медленно зашагала обратно. «Как же я глупо поступила!» — корила она себя.— Когда-то теперь дойду!» И, полная решимости, она прибавила шагу и почти побежала по дороге, по которой только что галопом удалился ее провожатый.

Она даже не вспомнила о волках. Ничто сейчас не страшило ее. Она бежала и бежала и только старалась так наладить дыхание, чтобы можно было бежать долго. Подняла воротник и дышала в сукно, потому что морозило все сильнее и воздух стал резким и колючим. Но когда все-таки задокнулась, она приостановилась и пошла твердым, ровным шагом, как в строю. Поле качалось перед ней и странно поворачивалось, приподнимая то один край, то другой. Она даже постояла немного, чтоб не упасть. «Усталая», — поняла Ксана и вспомнила, что почти весь день пришлось идти пешком и прошлую ночь тоже почти не спала.

Она снова шла и шла, и ей показалось, что по сторонам взлетают качели, вверх-вниз, ух ты! Как на ярмарке. Но нет, это она сама качается — вверх-вниз. Сердце замирает. Вверх-вниз. Да ведь она спит, идет и спит.

Ксана потрясла головой, проснулась. Вот же и погост. Теперь близко.

Несколько далеких выстрелов разбудили тишину. Ксана постояла, прислушалась. Да что такое? Или ей кажется? Громко скрипя полозьями, навстречу едет обоз. Быстро едет. Кто же это? Может, те, махновцы или «зеленые», убегают? Она шагнула через могилу и спряталась за приземистым крестом. Неужели бандиты? Верно, заметят. Все ближе, ближе обоз. Какие-то люди бегут сбоку. Ксана затаила дыхание. Вот уже слышно, как екают селезенки у лошадей, как фыркают и дышат лошади. Кто-то громко разговаривает. Мужские голоса. Нет, это поют...

«Жили двенадцать разбойников...»

— Зойка! — закричала Ксана и выбежала на дорогу. — Зойка! Надя!

Сбежались люди. Да, это свои! Подводы замедлили ход, стали. Подбежал Адоньев.

— Ксютка! — сказал он. — Садись. Устала, небось. — Почему вы уезжаете? — закричала Ксана. — Что там было?

— Суржак приказал труппе немедленно выехать. Туда прискакали конные. Только наши хлопцы из «Зойкиной коммуны» остались. Они там понадобятся.

— Хорошо, — согласилась Ксана, садясь на подводу и приваливаясь к какому-то вещам.

Подводы тронулись, и снежное поле опять закачало и поплыло. Адоньев легко бежал рядом с подводой и что-то рассказывал.

— А кто ж там в сераях? — спросила Ксана. — Бандиты?

— Кажется, «ангелы», — сказал, отставая, Адоньев. — Много их тут всяких: и «ангелы», и «черти», «зеленые», махновцы...

— Ангелы? — тихо засмеялась Ксана, представляя себе прачущихся под стрехами сарая маленьких крылатых ангелочков и проваливаясь в сон. Она и во сне еще смеялась, а снежное поле бежало рядом, качалось и баюкало ее.

ГЛАВА V

ТЕАТР

Небольшой обоз везет декорации, два сундука с костюмами да не бог знает какое баразлашко артистов. Артисты, в валенках и шинелях с поднятыми воротниками, по глаза закутанные в шарфы, толпают по дороге, перекинутся, пританцовывают. Иногда кого-то валят в сугроб, визжат, хохочут. И опять идут, чуть сгорбясь, высоко подняв плечи, то и дело отряхивая наледь с воротников.

Скрипит снег. Кругом белым-бело. Солнце спянит глаза.

Длинная колонна пехоты догоняет обоз и долго тянется рядом.

Надя Лаская присаживается на одну из подвод и, опустив воротник и распрямившись, будто ей стало тепло, запевает:

Эх, полным.

полным-полна коробочка.

Есть в шей ситец и шарч...

Красноармейцы позарачивают головы, улыбаются молодой артистке. Им тоже как будто стало и теплее и веселее.

Старик Романов, нахохлившись, бурчит что-то, он недоволен:

— Разве это искусство? Профанация. Выступать надо со сцены, торжественно, с подготовленным репертуаром. Выходишь — и зал смолкает. С треплетом ждет. А это что? Несolidно. Непрофессионально. Любительство!

— На таком морозе петь, — поддерживает его Маруся Емельянова, — можно голос сорвать, охрипнуть. А потом кто спектакль будет играть?

Но несколько лихих солдатских голосов присоединяются к Наде, еще и еще, и вот уже поет крепкий солдатский хор, почти вся колонна, бойко, со свистом, с молодецким удаливством.

Голос Нади теряется в этой веселой метелице голосов.

— Все-таки я их немножко подбодрила. Адоньев издала кивает головой Наде и подмаргивает:

— Молодец, Надюша!

Колонна быстрым шагом уходит вперед, песня разливается по белым полям...

Вечером труппа дает спектакль. Большой амбар быстро превращается в клуб, несколько красноармейцев да мальчишки из «Зойкиной коммуны» сколачивают сцену, устанавливают декорации.

А зрители уже полон зал. Они стоят, держа в руках винтовки, толпучат ногами, первые ряды присели на корточки.

Белый пар висит в воздухе, оседает на стенах амбара.

Занавес кое-как задернут, за ним переодеваются артисты. На сцене зажжены керосиновые лампы, от них тепло.

Спектакль играют два раза подряд. Часть красноармейцев посматрела и со спектакля прямым путем отправляется на недельный фронт.

Сосем молоденький военком, заикаясь от волнения, говорит им напутственную речь, беспрерывно ругая воздух рукою, согнутою острым углом.

Зал заполняется новыми зрителями. Они также строго стоят рядами, опираясь на винтовки, и по их лицам нельзя понять, слушают они или перебирают перед боем в мыслях свои дела, родных, любимых.

Близко бахают орудия. Спектакль продолжается. Кто-нибудь из артистов тревожно оглянет товарищей на сцене, зрителей и, успокоившись, продолжает играть. А зрители стоят недвижно, словно не слышат оружейной стрельбы.

В зал входит командир, в романовском полушубке, в смушковой шапке и, громким голосом покрывая артистов, дает команду выйти и строиться. Погромыхивая винтовками, солдаты быстро покидают зал. Спектакль прекращается.

В клетушку за сценой приходит наподив Рабичев, он случайно оказался здесь. Рабичев небольшого роста, с умным, тонким лицом.

— Репертуар, репертуар нужен, — говорит он режиссеру, делая скупые жесты рукой. Ксана невольно следит за его рукой, на ней — шесть пальцев.

Рабичев обходит всех артистов, знакомится.

— Молодцы, честное слово! Просто не ожидал. Вот кончится война, построим вам театр, найдем хороших костюмов, закажем декорации художни-

кам. А писатели насочиняют для вас пьес, музыканты напишут романсы — хорошие, советские, вот хотя бы... — Он смолкает, прислушивается к секунду к дальней музыке орудий и продолжает: — Вот хотя бы про этот морозный вечер, про этих солдат, что вас так слушали, про эти бои... Будет такое время, увидите!

Все счастливы. У Нади сияют глаза.

— Вот, Петр Михайлович, — говорит она Романову, — а вы меня все браните.

Рабичев, улыбаясь, слушает. Прищуренными глазами он всматривается во что-то на воротничке Маруси Емельяновой, снимает пальцами, бросает на пол и растягивает салогом.

— Это беда! — говорит он. — Следите за собой, товарищи, тиф гуляет по деревням... Ну, а теперь марш-марш!

Утром предстоит концерт в бригаде вблизи передовой. Вся труппа любит ездить в эту бригаду: командир ее славится гостеприимством — он всегда устраивает угощение артистам.

Ксана и Надя отправляются вперед квартирьерам: надо подготовить помещение для труппы.

День яркий, морозный. Впереди зеркально сверкающая даль. Белое-белое небо.

Маленькая лошадка с закурчавившейся от инея шерстью легко везет крестьянские розвальни.

На душе у артистов светло и хорошо. Они говорят о вчерашнем спектакле, о будущем театре, о пьесах, о Рабичеве, о знакомых политотделцах...

У самой деревни их догоняет конный разъезд. На некоторых конниках дубленные полушубки, на одном развевается бурка, в руках у них блестящие пики, сбрую болтают в ножках сабли — боевые хлопцы! Они замедляют бег лошадей, машут руками Наде, ее знают и любят за лесни. В деревню розвальни въезжают с почетным эскортом.

Надя сосканивает с розвальной, вбегаёт на первое попавшееся крыльцо.

Что вы головы повесили, соколяки.
Что ваш путь сегодня не быстрехонький... —

начинает она без всякого аккомпанемента. И как-то особенно хорошо звенит сейчас ее голос, раздалоно несется в морозном воздухе, и сама она сейчас хороша со своими белокурыми кудрями, с худым горбоносым профилем, статная и быстрая.

Внимательно, сосредоточенно слушают ее конники, сидят в седлах, не шелохнутся.

Тихо в деревне. Из соседних изб робко выглядывают крестьянки, дети, старики. Надя поет и поет. Уже пропеты и романсы и лихие цыганские.

А кавалеристы не унимаются.

— Давай, давай еще, артистка! За ради бога! — просит она.

Наде становится весело. Она сбрасывает шинель на перилла и напоследок отплывает на крыльце — благо, на ней синяя шелковая юбка, но валенки, валенки! — отплывает какое-то подобие испанского танца. Она целкает пальцами вместо кастаньет и подпевает себе на непонятном испанском — испанском ли? — языке.

Конники хохочут и аплодируют.

Ксана смущена этим танцем, но ей тоже весело, и она смеется вместе со всеми.

И вдруг внимание зрителей — а число их уже выросло вдвое — перекладывается на Ксану.

— А шо ж тая молодонька ничего не робит! Не умие, чи шо? — рздаётся громкий тенор.

Другие голоса поддерживают его.

Ксана готова провалиться сквозь землю. Конечно же, она не умеет ни петь, ни плясать. Если бы роль сыграть, это — другое дело.

А зрители кричат, требуют:

— Давай, ерстикта, пой!

Надя подкашывает:

— Прорекламирую что-нибудь. Ты же знаешь массу стихов.

— Давай декламируй, — требовательно повторяет ее слова усатый конник и взмахивает рукой, будто собирается дирижировать.

Ксана кажется, что у нее в голове валюпаются блестящие разноцветные брызги, она волнуется и ничего не может вспомнить.

— Я не помню ничего, — говорит она, задыхаясь и краснея, — честное слово, я... я боюсь...

— Не бойся! — весело утешает ее задорный мальчишеский голос.

Какие-то строчки быстро-быстро мелькают в голове Ксаны, но ни одну она не может поймаить, остановить, вспомнить начало. Да что же это! Ведь читала же она стихи и в школе и в клубе Ланниа. Надо взять себя в руки. Конечно, непривычно сразу да еще так близко, лицом к лицу с этим зрителем. Но хоть бы что-нибудь вспомнилась!..

Это — божки проплатите,
Это ужас — быт, как все... —

мелькает из Балтоана. Нет, нет, это совсем не то...

...Вудите добры, причешите мне уши... —

строка Маяковского. Ну совсем нехватай! «Боже мой, что же это!» — волнуется Ксана.

Напряжение не дает ей ничего осмыслить, она видит лица — требовательные, насмешливые, сердитые, веселые.

И неожиданно начинает читать стихи Фруга:

Три бедных тени чередой
Стучатся робко в двери рай...

«Не то, не то...» — мучится в ее голове мысль, но остановиться уже невозможно.

...Открыл, святой ключарь, открыл,
С молобко тихою взывал.

— Ешшо бы! — весело и насмешливо роняет бородатый казак.

Раздаются смехи. Кто-то кричит: «Тихо вы!»

— Не бойся! — раздаётся тот же мальчишеский голос, который ей уже кричал эти слова, но сейчас он говорит серьезно, подбадривает ее.

У Ксаны падает в груди сердце, по спине бегит холодок, но она громко и четко продолжает:

...Но вопрошающий вдали
Они внимают голос:

...Во тьме градущие с земли
Под эти...»

Ксани взгляд упал на белокурого чубатого конника, который сидел, свесив на одну сторону седла, и поглядывал на нее с какой-то затвонно-иронической усмешкой. Кровь ударила ей в лицо, она сразу забыла текст.

...Во тьме градущие с земли, —

повторила она механически,

Под эти... под эти... радостные...

«Господи, как дальше! Как дальше!» — мелькало в мозгу.

Под эти радостные кровы, —

выпала вдруг она, чувствуя, что сказала не то. — «Кровля!», — громко поправила усатый кавалерист.

— «Кровля!», — с ужасом, покорно повторила Ксана. Но тут же воскликнула:

— Нет!..

Под эти бластные врозь...

Смех шел по толпе.

— Крова! — еще раз поправил усатый.

...Кем были вы? В какой борьбе,
Книже подвиги свершали? —

громко и быстро закричала Ксана, чтобы не дать времени усатому перебить ее.

Усатый обижено и шумно стал поворачивать коня.
— Шо? Не нравится? — закричал ему вслед бородатый. — Какие подвиги свершали?

Шум и смех разрастались. Слезы брызнули из глаз Ксаны.

— Ничего, читай, складно выходит! — ревел коник с сердитым обмороженным лицом.

Но усатый уже выехал из толпы, нарушив порядок, кто-то последовал за ним. Все расстроилось.

Ксана бросилась в избу, проталкиваясь сквозь толпу хозяев, вышедших посмотреть, что здесь происходит. Мужики и бабы, не улыбаясь, осуждающе смотрели на Ксану и Надю.

Конники развскажились, бородатый спешился и пошел след за артистами в дом, утешая их и прося прощения за товарищев, «бо шо они, скаженные, понимают, им бы трепака, то они понимают, а шо длинкатное, умственное, сучьи дети, на то у них смелки нема».

Наде с трудом удалось выпроводить его.

Ксана сидела за печью и горько плакала.

Надя одна побежала по деревне, нашла хаты для актеров, пометила мелом ворота.

ГЛАВА VI

ВСТРЕЧА ВО ТЬМЕ

Ах, как тяжело было Ксане играть в тот вечер! Она не могла забыть хохочущих конников и того позора, что испытала. Ей казалось, что теперь все красноармейцы уже знают и говорят об этом ужасном уличном концерте, о ее неудачном выступлении и смеются над ней. Она вышла на сцену с отчаяньем в душе и начала свою роль, едва понимая, что говорит.

Было холодно, полутемно, пар дыхания заволакивал свет керосиновой лампы. Спектакль «борьба за волю», самый неинтересный из репертуара труппы, шел вяло и скучно, зрители кашляли, двигали ногами, входили, выходили.

Во время спектакля стало известно, что положение на передовой тревожное.

Комиссар бригады сам пришел за кулисы и смущенно предложил играть без антрактов и даже, если возможно, сократить спектакль. Он шелнул несколько слов Адоньеву, и тот распорядился, чтобы подводы труппы стояли наготове у театра. Об ужине не было и речи.

Ксана ходила по сцене, как неживая. Она ненавидела и проклинала сама себя за то, что не может повернуть ход своих мыслей, что перед ее глазами все время стоит эта ужасная картина: она перед толпой конников, растерянная, неумелая. Все конечно, казалось ей, она больше не может быть актрисой, она ничего не умеет.

И даже когда вдруг недалеко затарахтел пулемет, Ксана не взволновалась, не прислушалась, словно теперь уже ничто не имело значения.

В зале раздалась команда комбрига, красноармейцы поспешно стали выходить. Видно, нужна была немедленная подмога.

Мужчины торопливо разбирали декорации, складывали их на подводы, женщины хаотично рехватили

лампы, все, что было на сцене и что надо было сохранить для следующих спектаклей, уносили и складывали в большой раскрытый сундук, стоящий на сцене. Над ним уже хлопотала Духа Новоковская, размещающая внутри небогатое имущество труппы.

Ксана вместе со всеми вышла на улицу.

Было темно, шумно и тревожно. Испуганно ржали лошади, скрипели повозки, с разных сторон кого-то звали, сердито отдавали приказания и бранились.

Совсем близко с оглушительным грохотом разорвался снаряд. И сразу из этого грохота вырост полный страх и страдания вопль не то человека, не то животного.

Женщины бросились в темноту на этот вопль. Трудно было кто-нибудь разобрать. Натыкаясь на людей, на повозки, на лошадей, Ксана наконец взглядела санитаров или просто солдат, которые ржали раненых. Она и сама наткнулась на раненого; тихо азвизгивая, он пытался ползти и падал. Ксана закричала, призывая на помощь. Раненый стонал и корчился у ее ног, она опустилась на колени и заслонила его собой, чтобы кто-нибудь из мучущихся людей не раздвинул его. Рядом еще кто-то стонал. Ксана схватила за полу шинели пробегавшего красноармейца, остановила и с трудом упустила его. Они вместе подняли и потащили раненого к повозкам труппы.

— Ну куда, куда тащите? — плачущим голосом закричал кто-то из артистов. — Не видите, что ли, друг на друге уже лежат без всякой помощи; санчасти пойдите.

— Где я буду ее искать? — разъяренно набросился на него красноармеец. — Сам ищи! У меня кони стоят. — И, не досказав, он приткнул раненого к другим, не обращая внимания на стоны и крики, и скрылся в темноте.

Какой-то командир негромко и деловито стал отдавать распоряжения, чтобы рассортировать складенные людей и транспорта. Около него уже суевились Адоньев, надо было узнать, что делать с ранеными. Часть из них бойцы почти бегом перенесли на подводы санчасти, которая оказалась неподалеку, остальных артисты должны были доставить в ближайший тыл.

Тем временем Ксана опять побежала туда, где стреляли, суевились люди и, как ей казалось, еще остались на земле раненые.

Путаясь в лабиринте заборов, хат, она очутилась в каком-то дворе. Весь шум и света шли в стороне. Она рванулась назад. Мимо нее промчался человек в полушубке. Тяжело перескочив через пеньки, он испуганно оглядывался и, не целясь, стрелял назад. Он почти толкнул Ксану, не заметив ее, и с удивлением она увидела знакомое лицо. Этого грузного черноволосого человека она как будто встречала с подвизцами, но имени его не знала. Ей только запомнилось, что это самоуверенный, громогласный мужчина, всегда добротнo одетый.

В первую минуту Ксана подумала, что он заблудился и надо ему показать, куда идти, но тут же поняла, что это человек хочет скрыться подальше от боя, от опасного места. Мурашки побежали по ее телу. Возможно ли это? Может, он спешил наперез врагу? Может, у него какое-то задание? Да нет же! Он просто бежал. Ужасаясь, Ксана растерянно помчалась обратно, не сбиваясь, не прятаясь от пуль. Какой-то солдат толкнул ее и, отчаянно ругаясь, стал устанавливать пулемет прямо на деревенской улице. Ксана вдруг услышала крики своих, ее звали все: Надя, Скворцов, Маруся, Адоньев, Клава, — все звали ее, видимо, надо было уезжать.

Она бросилась на голосе, которые отодвигались и отодвигались от нее все дальше, вновь возникали и терялись в шуме.

Задыхаясь от бега, Ксана стала их догонять, пробиваясь через мешанину людей, повозок, грузовых автомобилей.

Наконец она почти настигла их, почти бежала вместе с ними, не видя их в толпе и тьме, но чувствуя, что они здесь, близко. Она слышала, как кто-то из мужчин чертыхался и как Клава Понсет ржалась назад, чтобы помочь раненым, и твердый мужской голос объяснял ей, что там осталась санитарная часть и что артисты обязаны выполнять приказ.

Толпа постепенно рассевалась во тьме. Артисты со своим обозом уходили по бездорожью, по колючатому мерзлому полю, чуть присыпанному снегом, с ледком в ложбинках. Неподдалеку чернел лес. Скрипели и грохотали на мерзлой земле подводы на колесах, стонали раненые.

Позади оставался шум боя, выстрелы, взрывы, ржание лошадей, крики. Там дрались красноармейцы, которые недавно смотрели спектакль.

Свернули в лес. Стрельба то отдавалась и слышалась глухо, то временами смолкала. Деревья стояли высокие, ровные и таинственные, как колонны. Снег лежал нетронутый, чистый, от него шел голубоватый свет, как будто это было не на самом деле, а в каком-то сказочном спектакле. У Ксаны вдруг отожгели ноги, она едва передвигала ими. День казался бесконечно длинным и трудным: так много всего было в этот день. И сейчас история с выступлением перед конниками показалась мелкой и глупой нелепостью. Вокруг было большое и страшное — бой, смерть, человеческая отвага и кровь, и трусость, свои и враги, и театр, и безмятежная красота ночи, и голубой снег. Все было огромным и важным и проплывало, как в очарованном сне.

Шли молча, спотыкаясь, держась руками за подводы, которые с трудом находили дорогу и пробивались меж деревьями. Небо стало чуть светлеть. Просветы, едва наметавшиеся впереди, обозначили конец леса.

На небольшой полянке Адоньев остановил обоз, тихо созвал людей. Надо было послать кого-то разведать, куда идти, кто там, за лесом.

Тарасов и Дмитриев отправились вперед. Несколько человек шли следом неподдалеку, на всякий случай, если что случится с разведчиками. С ними пошла и Ксана. Старались идти тихо, не хруская сучьями и снегом, не разговаривая.

Совсем близко за лесом в сером предутреннем сумраке завиделась украинская деревня с белыми хатами и палисадниками.

Тарасов и Толя стояли на опушке, прятаясь за деревьями, и наблюдали, не появится ли кто. Свои здесь или чужие?

Ксана издала мысленно торопила своих товарищей: «Ну что же стоите? Пусть один из вас идет в деревню. Там тихо, все спят. Что вы можете узнать издалека? Ах, если бы мне... Я быстро бы дошла до деревни, постучала в первое же окно и спросила бы у крестьян...»

Неожиданно в одной из хат открылась дверь, показалась баба с коромыслом в одной руке и двумя пустыми ведрами в другой. Она поглядела на небо, зевнула, постояла, послушала и полпелась к колодезю.

Тарасов сделал знак Дмитриеву, чтоб он стоял на месте, а сам быстро пошел навстречу бабе. Она увидела его и совсем не по-настоящему, а так, как

играют плохие актрисы, присела, бросила ведра и коромысло, развела руками и вдруг побежала назад без оглядки.

— Мать, постой! — негромко позвал Тарасов. Дмитриев вынырнул из-за деревьев и побежал перехватить женщину, но она азвизгнула и исчезла в избе.

Ксана, волнуясь, заторопилась к опушке. Она увидела, как Тарасов решительно двинулся вперед, на миг обернулся к Дмитриеву и помахал ему рукой, чтоб тот стоял на месте.

И Ксана разом поняла все. Под расслапнувшейся шинелью Тарасова блеснули нашивками полицейский мундир. Борода и усы выдавали солидного, опытного городского, которого играл Тарасов в «Борьбе за волю». Он не успел переодеться и разгримироваться и забыл об этом.

Толпа Дмитриев фыркнула, прикрыл рот рукой.

— Она полицейского испугалась! — издали крикнула Ксана, толая от радости ногами.

Тарасов сообразил. На ходу он сбросил шинель, скинул с себя прямо на снег мундир полицейского, и в одной красноармейской рубашке, срывая на ходу парик и бороду, открыто побежал к избе, в которой скрывалась баба.

Все зашевелились и, уже не прятаясь за деревьями, смотрели вперед. Ксана и Толя Дмитриев бросились подбирать мундиры, парик.

Адоньев повернул в лес к подводам и, махая рукой, закричал:

— Эй, кто там, товарищи, выводи подводы, в деревне snow!

ГЛАВА VII

ВЬЮГА

После двухдневной стоянки выехали к вечеру, когда уже начался поземка. У хат, у плетней она наметала новые лухлые сугробы и тут же, пока полозья саней не успели примять их, вздымала, кружила и развевала по ветру.

При выезде из села со свирепой силой рванул вихрь, на улице завывло, загудело, как в большой трубе. Вьюга усилилась. Лошадей сразу облепило снегом.

— Надо бы переждать, — нерешительно сказал Сиворцов, шагая своими длинными ногами рядом с обозом.

— Доедем. Недалеко, — уверил Адоньев и бросился вприпрыжку за санями, стараясь полущее натянуть одеяло на и так укутанную с головой Клаву Понсет.

— Доедем! — звонко откликнулась со своих саней вся «Зойкина коммуна».

Подводчики быстрее погнали лошадей, пашне поаскакивали на сани, обоз заскользил по снежной дороге.

Настроение у всех было приподнятое. Только что, перед выездом из села, артисты сидели в большом классе деревенской школы, на полу, устланном соломой, и топили кем-то поставленную времянку. Было тепло, вкусно пахло мажоркой. Железная печурка накалилась докрасна, любители поджаривали на ней сухари и громко хрустели ими.

С минуты на минуту ждали приказа о выезде. Из штаба, стоявшего в ближнем селе, пришла молдежь; они всегда навещали артистов, когда ока-

звисьли близко, особенно Надю и Ксану. С морозца уселся погреться. Надя хлопнула в ладоши, азартно, с цыганской удалью запела:

Эх, располтел серый мой вол, располтел,
Эх, располтел, да хороша моя...

И сразу как будто ударили в бубны, стало шумно, весело. И пошли песни одна за другой.

В углу спокойно всхрапывал старик Романов, укрытый с головой шинелью. Возле него сидел Толя Дмитриев, зашавал драпавой веленок и тихо, под нос мурлыкал татарский напев.

Маруся Емельянова, несмотря на голоса и шум, вела со Скворцовым лишь им одним понятный разговор. В нем заключались какие-то воспоминания, намеки, поучительные истины, упреки, формулы разных житейских правил. И хотя Маруся говорила рассудительно и сдержанно, в ее голосе проскальзывали трагические нотки, на бледном лице выступил румянец. Скворцов тщетно старался перевести разговор на шепот.

Надеясь, что в этой обстановке на него никто не обратит внимания, высокий блондин Сава Толстов, штабист, неотрывно искоса смотрел на Ксану и, встречая ее взгляд, сильно, до пота краснел. Ксана делала вид, что не замечает этого, но костюмерша Дуса Новоказанская все время подталкивала Ксану и шептала ей, чтобы она поглядела на Саву. Все это слышали и смеялись, смеялась и Дуса, ее простое чистое лицо становилось розовым, тонким; она прикрывала его руками, на них красиво ложилась скобка ее пепельных подстриженных волос.

Клава Понсет в уголке шепталась с Адоньевым, остальные люди не входили в поле зрения Клавы. Только с Ксаной и Надеей она иногда любила поговорить о поэтическом или еще, как она выражалась, о трансцендентальном, а проще говоря, о снах, поверьях, предчувствиях,— обо всем непонятном. Остальное ей было скучно.

А Зойке всегда было весело. И здесь она лазила по полу, собирая для печки солому, шагала через всех, измятая, растрепанная, с соломинками в своих черных пышных кудрях, и вместе со всеми пела.

...И вот уже школа с ее жаркой печкой позади. Быстро мчится обоз по снежному полю. Ничего вокруг не видно: кружится, метет вьюга, жутковато вост.

Артисты громко перекликаются с саней.

— О-го-го-го-го!

— Кто на последней? Следи за обозом!

— На-а-да!

— Смотрите по сторонам, чтоб волки...

— Я ту-у-т!

— Мар-ру-у...— заносит вьюга слова, леденят они, ломаются надвое, разбиваются вдребезги.

Плотный пар летит над обозом, оседает белым махровым узором на лицах, на воротниках. Тяжело вздыхают лошади.

Ну же и пляшет в полях метель! То в одну сторону заметет, то в другую, ковергу взвивается, по земле стелется, буינו пляшет, не дай бог с ней в поле повстречаться: заиграет до смерти.

Всем и жутко и весело. Даже спокойный Сорокин взбудоражен вьюгой, он долго окликал кого-то, укал филином, теперь громко декламирует стихи, сидя один на санях.

Ксана атлывается в белую мусть,— если долго так глядеть, кружится голова. Длинные шлейфы метут свои кружевом землю. Взлетит шлейф коверху, и кажется, что не земля чернеет внизу, а вода: кипит огромное озеро, бушуют на нем пенные волны. Глаз не оторвать.

И Ксане тоже хочется что-то кричать в эту белую кипель, и махать руками, и петь. До чего же захарывает и дурманит эта вьюжная ночь! Радостно Ксане и страшно до жути. Она отбрасывает ковер, которым они с Надеей укрыты, сползает на край сани и вместе с вьюгой бормочет, поет и кричит, будто заклинает, будто заговаривает:

Войте, волки,
Войте, вьюги,
Гуше, муть!
Заплетите, звезды, туго
Млечный Путь!
Лягай зубьями,
Костлявый
Дед-Буран,
Вой, волчиха,
От кровных
Черных рая,
У обугленных амбаров
Плашет тень,
Слон стоит у погоревших
Деревей,
К слезу мертвому привала
С криком мать.
Будут вьюги хоронить
И горевать,
Хороводом, звездным хором
Вирует луна,
Все преграды, все аборды
Сожжены.
Ветер знамя огневое
Флет из рук.
Волчья стая стала, вол,
В полукруг,
Люди, люди! В стаю — градом
Из саней!
Будем биться, будем драться
До конца...

Надя хохотала.

— Кольдунья! — кричала она. — Наша Ксанка кольдунья! — И пела что-то быстро, цыганское:
3-гей! Тары-бары, тары-бары,
На-то-ра-а!

С соседних саней тоже прорывались песни и то-нули в снегах.

Возница вдруг оглянулся и свистнул что есть мочи долгим свистом — мороз по коже!
И этот свист словно напомнил о чем-то, словно насторожил: такое ли еще может быть!

Сразу все стало затихать. И скоро только скрипели полозья да вил ветер. Будто и не было этого дурманного веселья. Только вдруг прорывался тоненький голосок Толи Дмитриева — он тянул свою татарскую песенку без слов.

— Заворачивайся в ковер, — сказала Надя, — замерзнешь. И что это ты колдовал?

— Сама не знаю, — вдруг ответила Ксана. — Это такие стихи у меня сочинились. Даже устала.

Она завернулась в ковер и улеглась. Сани раскачивались на скользкой дороге — влево-вправо, влево-вправо; Ксану сначала это пугало, потом стало ублаживать.

Надя натянула на себя одеяло, поджала колени к подбородку и тоже задремала...

Ксана открыла глаза и никак не могла понять, где она. Было светло и бело вокруг, тишина стояла удивительная. На молочном небе лежал бледно-розовый ответ.

Прямо над Ксаной свешивались тяжелые еловыя лапы с толстыми горбиками чистого белого снега. Она повернулась, под ней заскрипел снег. Что это? Где она? С трудом выскободилась из тяжелого ковра. Встала.

Наезженная и уже присыпанная снегом дорога. Бескрайняя снежная равнина с одной стороны, с другой — лес. Ни души кругом. Она одна.

«Господи! Да как же это случилось!» Страх овладел Ксаной. Видно, во сне выкатилась из саней, обоз ушел. Она лежала здесь на снегу и спала. А если бы вдруг волки!

Ксана побежала по дороге, только сейчас почувствовала, как она замерзла, как холодно спине и как страшно ей. Но тут же вернулась. Нельзя же оставлять ковер. Это — имущество трупы. Она попыталась нести его, но было невероятно тяжело. А из лесу каждый миг могли показаться волки. Их много в лесах. И люди. Какие люди? Враги?

Ксана торопливо раскатала ковер и поволокла его по дороге. Страх, страх, один страх владел сейчас ею. Она бежала, с трудом тащила ковер и до боли в глазах и ушах вглядывалась в поле, в лес и вслушивалась. Иногда мерещилась черная точка вдали, дыхание ее останавливалось. От напряжения у нее свело шею и плечи. «Не добегу, не добегу, — думала она, — сердце разорвется. Что делать?»

Задыхаясь, она остановилась; нет, не может она дотащить ковер. Без этого проклятого ковра она добежала бы до деревни. Ее охватило такое сильное волнение, что она не могла ничего сообразить, металась возле ковра, оглядывала дорогу, лес, снова хваталась за ковер.

В отчаянии Ксана села на ковер и застонала. Собственный голос, прозвучавший в тишине, привел ее в себя. Она заставила себя встать, оглядеться, отверла лицо руками и громко сказала:

— Труп!

Она не сказала «трусиха», это было бы не так оскорбительно; ей надо было обидеть себя сильно, чтоб опомниться.

Потом она стала командовать собой:

— Спокойно стоять, отдышаться! Так! Раз-два, левой!

— Взять ковер и не спеша тащить его. Отдохнуть, когда устанешь!

— О волках не думать! Дура!

А в голову между тем лезли разные мысли. Надя, наверно, уже заметила и что-то предпринимает... Может быть, все-таки оставит ковер и потом приехать за ним?. Глупости! Трупка уже уехала за двадцать верст. Еще надо искать ее, когда же возиться с ковром? Вот тебе веселье, вот тебе колдовство! И никто не заметил, как она упала с саней...

Вдруг ей стало смешно. Как это она умудрилась упасть и не заметить. Крепко спала. Вот так спала!

Ксана громко смеялась. Смеялась до слез. Вот так спала!

Все! Хаатит! Ничего смешного! Просто глупо. Спокойно тащить ковер. Не спешить! Хорошо дышать!

Она шла, согнувшись, двумя руками волокла по снегу ковер, скользая и спотыкаясь, останавливаясь, чтоб передохнуть и вытереть пот с лица, — он заливал ей глаза. Иногда ей казалось, что она сейчас похоча на лошадь, и она опять потихоньку смеялась. Потом она как-то приспособилась и шла ровно и

долго, не глядя по сторонам, стараясь ни о чем не думать и только удивлялась голубому, розовому, зеленому, фиолетовому свертанию снега. Словно в снегу были разбросаны осколки зеркала.

Этому пути не было конца. Стоило поднять лицо — и впереди по-прежнему виднелась белая равнина. Только она чуть порозовела. Ни деревни, ни хаты, ни человека.

Ксана чувствовала, что дух ее слабеет. Еще немного, и отчаяние снова овладеет ею. Она так старается держать себя в руках, но это не может долго длиться. Ей же страшно, страшно! Вдруг волки! Они выходят по утрам. Вдруг здесь банды. Кулаки, которые скрывают в лесах лошадей и сами прячутся от войны. Да она уже и устала, вся мокрая от пота, и лицо болит, она все время отирает глаза рукавицей. И просто она уже не может удержать слез. Она горько плачет.

Опять сверкают осколки. Их все больше. Скрипит снег. Шуршит тяжелый, ошарпанный, проклятый ковер. Тихо и тихо кругом. Лес, лес с одной стороны, с другой — поле. Хорошо, что нет выюги.

Вот это неожиданность! Оказывается, дорога раздваивается. Хоть и намело снега, но все же видно: одна так и идет прямо, другая сворачивает в лес.

Ксана долго стоит у лесной дороги. Она широкая, свежая, не так давно здесь проехали. Может быть, сюда свернуть? Ведь впереди на прямой дороге ничего не видно: лес и поле.

Отчаяние ведет Ксану. Она сворачивает в лес. Но здесь еще страшнее: лес с двух сторон. Нет, надо вернуться, вернуться! Назад, скорей назад! Поко развернешь этот чертов ковер! Но стои! Что-то виднеется впереди. Хата! Хата! Еще хата!

Ксана плачет и хохочет громко, не стыдясь. Деревня! Какая бы ни была, но здесь люди!

Она бежит и тянет за собой ковер. Она даже не чувствует, тяжел он или нет.

Деревня. Тихо. Люди спят. Но еще издали Ксана видит сани с вещами. Обоз! Обоз! Лошадя, очевидно, в сараях. Люди в хатах.

Ксана, задыхаясь, подтаскивает ковер к саням. Вот она даже находит свои сани. Те самые, с которых свалилась. Кое-как взваливает на них ковер. Оттирает пот с лица. Черт знает, что с ней было! Как это могло случиться! Но теперь все хорошо, все прекрасно! И она сама молодец, дотащила все-таки. Не такая уж трусиха. Не такая... Надо таперя войти в какую-нибудь хату и лечь спать. В любую хату. Тихонько войти и лечь спать. Никто, наверно, в темноте и не заметил, что произошло. Тем лучше! А Надя? Видно, задремала, проснулась уже в деревне. И решила, наверно, что Ксана зашла в первую попавшуюся хату и свалилась от усталости.

Очень хорошо! Тем лучше. Спи, милая Надюша! Ничего не случилось. И ковер на месте, и я сейчас буду спать на печке. Или на лавке. Ничего особенного не случилось...

(Продолжение следует.)



КСАНА МУРАТОВА —

ФРОНТОВАЯ АРТИСТКА

Рисунки И. Блинова

ГЛАВА VIII

ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА

Весна подходила незаметно. Снег на полях чернел и оседал, дороги уже подсохли; постепенно земля освобождалась от снежной шубы и начинала тихо дышать; от ее живого дыхания шел пар.

Труппа кочевала. Останавливались на ночь в печальных избах, где с крыш бабы уже снимали солому, чтоб накормить спрятанную тощую коровенку, где едва хватало крестьянской семье картошки на чугунок. Это и было дневное пропитание. Артисты шли пешком: еле хватало лошадей для подвод с вещами. Шли и шли по талой земле, где из-под снега вдруг обнажались груды обгоревших кирпичей, руины деревень. Подолгу не встретишь жилья. Ах, как пустынка эта черная земля, когда нет на ней человека!

Из землянки вылезает старик крестьянин со слезящимися глазами, в рубахе и штанах из рядна, которов тнут бабы. Похоже, будто он в белье. Щурясь, старик смотрит в небо, ищет теплого солнца. Но солнца мало. Бегут и бегут по небу быстрые серые тучи.

Земля влажная, холодная, кое-где по оврагам еще держится снег, но здесь, на этом холмике с трубой, уже распрямляется прошлогодняя желтая трава.

Страшно заглянуть в это обиталище людей — землянку. Черная, сырая яма, теснота, грязь, на соломе, устилающей дно ямы, полуголые дети с зеленоватыми лицами.

Деревня давно сгорела, еще в империалистическую войну, люди не смогли отстроиться, вырыли землянки, так и живут который уж год.

— Какие будете? — спрашивает старик и приставляет ладонь к уху, чтобы услышать ответ. — Красные? Чи за самостийну Украину воюете?

— Красные, — отвечает Маруся Емельянова, — а ты кого ждешь?

— А, — машет он рукой, — всяких перевидал. Все вы горе одно!

Ксана с потускневшим лицом отходит от землянки.

— Дедушка, — спрашивает она, — это внуки твои там?

— Внуки, — нехотя отвечает дед, растирая свои худые ноги в тонких штанах. — Закурить нет ли у кого?

Скворцов дает ему махорки; из других землянок, как из пещер, выползают древние люди, худые, с серыми лицами; они с завистью смотрят, как старик закурчивает «хозяю ножку». Скворцов отдает им кисет, он идет по рукам, мужики жадно затягиваются дымом.

— Боже мой! — отворачившись, вздыхает Ксана. — Смотреть невозможно!

Продолжение. Начало см. в № 1 за 1964 год.

Клава Понсет стиснула двумя руками щеки, стоит, качает головой.

— Вот как люди живут!

— Не живем, а голодуем до мрем,— отзывается кто-то из крестьян.— Обездолילה нас война. Когда ей конец будет?

У всех на душе тяжело. Сказать нечего.

Только Непомнящий почему-то с ужимкой бросает своим, чтоб не услышали крестьяне:

— Мужик, он любит приbedнаться.

— А из взрослых есть кто с тобой, дедушка? — не взглянув на Непомнящего, спрашивает Ксана.

— А как же? — отвечает старик.— Дочка моя, Василиса.— Согнувшись, он все трет свои колени: видно, болят.

Ксана идет к обозу, что стоит недалеко, достает хлеб, который сегодня утром получили на станции, и приносит старику.

Моментально ее окружают женщины, дети, старики. Они шуряют от света, забко поводят плечами.

Ксана растерянно оглядывает своих товарищей. Но все уже и сами идут к подводам, роются в вещах, достают что у кого есть — хлеб, сахар, печеную картошку. Непомнящий и тот тащит пару где-то раздобытых коржей.

Люди хватают, жадно тут же едят, одевают детей. — Мы на шлаху, милок,— говорит ей старик, тот самый, что сказал «голодуем до мрем».— Все войска через нас идет, никто не минет. Война здесь уж который год топчется. И бомбы, и пулеметы, и еропланы. Бог посетил — горели. А земляца не кормит. Посадишь картоху — кони вытопчут, солдаты съедят, так и мрем.

Ксана поднимает голову и смотрит в небо. Невыносимо ей глядеть в эти выцветшие глаза, на эти бессильные корявые пальцы, так бережно и ласково собирающие с ладони крошки хлеба.

Из землянки показывается голова женщины. Ее бледное лицо с продолговатым разрезом огромных темных глаз поражает необычностью, словно изнутри его сжигает какая-то неудержимая страсть.

— Простынешь,— грубовато говорит женщина старику,— чего стоишь? Иди в хату!

Хатой она называет свою землянку.

Старик покорно идет, худой, ссохшийся, в своей белой рубаше и портах, как покойник. Он протягивает женщине кусок хлеба, который сберег для нее. Она хватает хлеб цепкими руками, заворачивает его в край кофты и засовывает себе за пазуху. Безучастно оглядев актеров, которые стоят здесь, беседуют с крестьянами, она залезает на землянку поправить трубу, из которой тянется дымок.

Тарасов заговаривает с ней: вот скоро эта жизнь кончится, как только красные одержат верх и установится Советская власть. Уже совсем недолго осталось идти. И домов тогда настроят и поля засеют. Он старается говорить мягко, это грубоватый человек — уж он-то понимает, как плохо крестьянину-бедняку — он сам из бедняцкой семьи.

Женщина — это и есть Василиса — рылком поворачивается к нему, садится на землю — на крышу землянки,— обводит всех взглядом, в лице ее что-то кипит, вот-вот прорвется криком, слезами или бранью.

— Землю отнимать будете? — вдруг надрывно кричит она.— В коммунию загоните? Глаза бы мои вас не видели!

Артист Сорокин, молодой человек с пышной шевелюрой и с неподвижными чертами лица, подходит к ней ближе и начинает разъяснять, за что воюет Красная Армия, для чего нужна Советская власть, кто такие большевики.

Мужики постепенно приdvигаются к нему, молча слушают. Сорокин разъясняет все толково, толко, пожалуй, чересчур сухо и уверенно, что все пойдет; как по-писаному, ему кажется, что крестьяне, которые до сих пор колебались, послушав его, сейчас же повернут на сторону красных и сами будут удивляться, как это до сих пор они в чем-то сомневались. Нет, не так просто, не так все просто, Сорокин!

Василиса не слушает, она перебивает его речь иступленными выкриками, протестует, она полна ненависти и ярости, похоже, что она в бреду. Почему она протестует, беднячка, у которой нет ни хлеба, ни хаты? Ее красивое лицо пылает злобой и страданием. Может быть, кто-то настроил ее так неприлично, может, дути ее так сильно рана и не верит она теперь ни во что хорошее? Каждая фраза Сорокина вызывает в ней новую волну протеста и негодования. Она вся дрожит, ноздри ее расширены, глаза сверкают. Она похожа сейчас на загнанную, покрытую пеной, дрожащую всеми мышцами лошадь.

Ксана подходит к ней и стоит в нерешительности. Красной, Тарасов моргает Ксане: оставь ее, не в себе женщина, отойди лучше. Но Ксана не выдерживает.

— Не надо,— говорит она Василисе.— Успокойся. Ты не хочешь идти в коммунию? А кто тебя туда звет? — Она повышает голос.— В коммунию! Кто тебя туда зовет? Кто заставляет? Никто тебя не заставляет!

Василиса поднимает на Ксану глаза, еще полные ярости и гнева. И Ксана, которая и сама-то не знает, действительно ли будут коммуния, и станут ли они обязательными, и как все сложится дальше, но полная уверенности, что будет именно так, как надо, бросает ей жесткие, крутые слова:

— Такие, как ты, не нужны коммуние!

Ксана хотелось утешить женщину, успокоить, но вышло иначе: сама не желая того, она хлестнула ее этими словами, как кнутом.

Женщина сделала попытку встать.

— Так мы уж и не нужны? — растерянно пробормотала она, словно сразу обессилев, упала на землю, обняла ее руками.— Уйдите вы все от меня! — вдруг закричала она.— Опостытели вы мне все! Не отдам я свою землянку, не отдам! Не жить мне без нее! — Она цепляется руками за землю, будто у нее хотят отнять этот кусок, на котором она лежит.— Берите жизнь мою. Но землю не отдам. Не отдам! Не оторвете меня от нее, не оторвете! — Она громко рыдает, хватая землю руками, как безумная.

Все отходит в стороны. Крестьяне мрачно смотрят себе под ноги, качают головами.

Ксана чувствует, что в ней самой тоже закипает гнев и боль, и жаль ей эту женщину, и хочется прикрикнуть на нее. Но что-то говорит Ксане, что это страх за землю кем-то внушен Василисе, она сейчас как заколдованная, а стоит расколдовать ее, и она все поймет и так же яростно будет стоять за красных. «Она своя, своя», — думает Ксана,— ведь она нищая, несчастная, она должна быть своей!

Только что прибывавший откуда-то, залыхавшийся Адоньев уже подает знак артистам идти к подводам: обоз сейчас тронется. Взволнованная всем виденным, Клава Понсет уходит за ним.

Старая крестьянка, показывая глазами на Василису, шепчет Ксане на ухо:

— Мужа у ней на глазах казаки порубали и хлопчат одного. Мать-старуху снарядом убило.

Кровь ударяет в голову Ксане. Она садится на землю, рядом с Василисой. Перед глазами ее встает

картина той страшной ночи, когда отступающие бело-говардейцы грабили их квартиру. Как стояли они с револьверами возле отца, как стреляли в темноте. Как сестра ее Леля пряталась в одной рубашке в саду за сугробом. Воспоминание такое острое, что у нее сжимается горло. Она глубоко вдыхает воздух, чтобы взять себя в руки.

— Знаешь что...— тихо и медленно говорит она Василисе, наклонясь над ней,— знаешь что... моего отца и мать тоже чуть не убили. Чудом спаслись. И мой... Она не знает, как назвать его, Николая, воспоминание о котором почему-то сейчас так мучительно.— Мой... брат,— говорит Ксана, и глаза ее вдруг наливаются слезами,— мой брат где-то на фронте, не знаю, где, может, его уже и нет...

Так много хочется ей сказать этой несчастной женщине, так рвется из души своя боль, но ком встал у нее в горле, не выговорить больше ни слова. Да и, собственно, сказать больше нечего. Ксана сидит рядом с Василисой и молчит.

Василиса поднимает свое лицо от земли, поворачивается и смотрит на Ксану. Удивленно, большими глазами богоматери смотрит на Ксану. И неожиданно обнимает ее. Они сидят рядом, прчя от других свои лица, по которым быстро-быстро катятся частые светлые бисеринки.

Надя Лаская издает зов Ксану: пора ехать. На ее помаршем лице озабоченность.

Ксана решительно отирает рукой лоб. Василиса глядит ей в глаза близко-близко и шепчет, словно никого вокруг нет, словно они здесь вдвоем, как сестры, и она поверяет Ксане свою тайну:

— Я же ее люблю, эту землю. Я бы за ней, как за дитем, ходила. Удобривла бы ее, переплалаха б, всю бы руками перегребла. Она бы у меня, как постель, чистая да мягкая была, и цвела бы и родила... Я без нее остаться не могу. Мне без земли делать на свете нечего.

Слезы все текут по ее прекрасному лицу.

— Знаешь что,— говорит Ксана.— Так оно и будет. Увидишь. Ведь красивые хотят взять землю у помещиков, у богатея, чтоб крестьянам ее дать. Понимаешь? Да для тебя-то ведь земля. Ты хозяйкой ее будешь, вот поверь мне! Ты только это время пережди, войну, держись как-нибудь. Война скоро кончится, это я тебе точно говорю, ты увидишь. Увидишь...

Они обе кивают головами, соглашаясь и примиряясь друг с другом. Потом поднимаются с земли. — Ну, прощай!— еще раз говорит Ксана, сжимая локти Василисы.— Все хорошо будет, увидишь!— Она взмахивает рукой, прощаясь со старшими, подала крестьянкам, и бежит к подводам. Там уже собралась все артисты. Василиса сразу уходит в землянку.

...Ксана лежит на подводе, лицом вверх, закрыл глаза. Ей не хочется ни с кем говорить. Много горя и нищеты кругом, едва-едва терпят люди, едва держатся. Слово ходят по самому краю чего-то, еще толчок — и все! Пропадет человек, рухнет в пропасть.

И так ясно видится все под закрытыми веками — черная земля, мягкая, добрая, как постель. А люди голодуют да мрут. И горе кругом. Сил не хватает. И душа не выдерживает.

Война, война, и не видно в ней, что кому-то худо, совсем худо. Идет человек по краю, по последней кромочке...

Ксана вскакивает и рукой отталкивает кого-то от пропасти, страшной, как могилы. Так показало ей. Будто оттолкнула кого-то от пропасти... Просто так показалося.

Солнце прячется в тучах. Чернеют вокруг поля. Медленно таете обоз. Устали лошади, мокрые от пота, голодные, тяжело мотают они головами, не поднимают на человека обиженных глаз.

В бригаду приехали засветло. Скворцов отправился к комиссару бригады узнать, когда труппа должна дать спектакль, покормят ли артистов, смелят ли лошадей.

Маруся и Ксана пошли с ним.

В хате, где стоял комиссар бригады Воробьев, было полутемно. Сквозь маленькое грязное окошко едва пробивался свет. Воробьев полулежал на застланной ковриком лавке, опираясь на подушки, и курил. На его желтом, как янтари, лице мрачно горели черные глаза. Было видно, он нездоров и в плохом настроении.

Мальчик-ординарец, круглый сирота, прибывший и войскам, сидел на табурете и перебирал струны гитары.

— послушайте его, послушайте,— насмешливо сказал Воробьев,— у меня тут свой театр. Ну-ка, цыганскую!— приказал он мальчику.

Тот принял неестественную позу и зашел «Мой костер в тумане светит» чуть в нос, подражая, видно, кому-то, затгивая некоторые слова, другие быстро проговаривая. Было жалко его и неприятно на него смотреть.

Воробьев мрачно смеялся.

— Не надо,— попросила Ксана.— Ну, пожалуйста, не надо!

Воробьев встал, прошелся по хате.

— Наш народ уже победил, сейчас вас накормят. Не густо, правда, пшениный кулеш с салом, вот и все. Хлеба зато вдоволь. Спектакль завтра дадите. Вечером здесь не очень-то... А сейчас хорошо бы артистам—кто у вас тут может—побеседовать с крестьянами. Небольшой митинг проведем. Объяснить надо, какая у нас власть, чтобы поняли: помещикам, богатеям конец. Чтоб сами шевелились да помогли Красной Армии хлебом, конями. В лесах добро прчют, хлеб позарывали. Кулачка тут!..

На митинг вместе с Воробьевым пошли Скворцов, Маруся и Ксана.

Народу собралось много на лужке, у самой околицы. Дальше начинался жидкий ельник.

Воробьев привычно открыл митинг небольшой речью о мировой буржуазии, о борьбе рабочего класса за победу, о Советской власти. Когда начал беседу Скворцов, Воробьев, уходя, тихо сказал Марусе и Ксане:

— Решите сами между собой, кто о чем будет говорить. Агитируйте вот за что: чтоб сеяли, чтоб лошадей не прятали по лесам, чтоб помогали Красной Армии. Вот главное. Как кончите, приходите обедать прямо ко мне. Да расскажете, как тут прошло.

Ксана спросила настороженно:

— И я тоже должна выступать?

— А как же? Тут вопроса будет дай боже!

Ксана слушала недлинную речь Скворцова и волновалась. Ей казалось, что он говорит, как на репетиции, интеллигентными словами, но крестьянам это вряд ли понятно. А что она сама скажет? Ей не приходилось еще разговаривать с такой большой толпой. Она вела лишь короткие беседы с небольшими группами бойцов по три-четыре человека. Читала им газеты. Но это было совсем другое.

И сейчас она лихорадочно думала, о чем же ей говорить и как. И ей представлялось, что вот она выйдет вперед, и от волнения в голову у нее брызнут разноцветные искры, и она не сможет сообра-

жать, и станет выкрикивать уже много раз слышанные фразы, как это делают некоторые ораторы на митингах, и будет рубить воздух рукой... «Нет, не дай бог!» — ужасалась она. Только бы не волноваться, быть спокойной, обдумывать, что говоришь, смотреть им в глаза, рассуждать как бы вместе с ними. Вот так выступал Рабичев, она однажды слышала и удивлялась, что он не речь произносит, а просто разговаривает, тихо, спокойно и, кажется, даже тут же обдумывает, не боится задержаться с ответом, мысль поворачивает и так и эдак, пока все не становится убедительным. Если бы ей удалось так! Только б не сбиться на высокопарные слова, на всякие фразы о мировом коммунизме, о том, чего не знаешь. Тогда ужас! Лучше убежать сейчас! Крестьяне стояли плотной молчаливой толпой — приглядывались к артистам.

Маруся Емельянова в стороне негромко что-то объясняла кучке женщин. Они тесно окружили ее, задавали вопросы. Сворцов все время беспокойно смотрел в ее сторону, очевидно, боясь, что Маруся может не справиться, ее собьют и она попадет в трудное положение.

Он быстро закончил свою речь и стал пробираться сквозь толпу к Марусе. За ним потянулись некоторые мужчины. И скоро он и Маруся уже вели совместную беседу с толпой крестьян, главным образом о положении на фронте.

А Ксана тоже оказалась в плотном, широком кольце мужчин, пожилых и молодых — бабы куда-то рассеялись.

К своему удивлению, она вдруг перестала волноваться и, даже забыв про Рабичева, про то, как он повел бы разговор, начала с того, что еще с утренней встречи ее терзало и томило, — с бедности крестьян, с их разоренности, с нехватки земли. Она отвечала на вопросы, что летели к ней из толпы, и снова возвращалась к земле. Шла речь о том, что сейчас, в начале весны, необходимо всем миром взять помещичью землю и всю ее, включая помещичью, засеять; что это надо сделать не только для себя, чтобы не голодать, но и для всей страны, которая нуждается в хлебе. Красная Армия побеждает, вскоре всюду будет революционная власть. Крестьяне и рабочие сами будут хозяевами земли. — Значит, работать будем мы, а хлеб жрать вы! — раздался чей-то злой голос.

Ксана осеклась. Она сразу увидела того, кто это сказал. Это был крепкий, скуластый пожилой мужик в добротном полушубке внакидку. Он стоял, расставив ноги, высоко поднимая плечи, словно собирался бороться.

Стараясь сдерживаться, Ксана, как умела, разъяснила, что в Советской стране все будут трудиться на равных правах; тот, кто не трудится, не будет есть добытого другими хлеба.

— Эх, земля-землица! — вздохнул стоящий возле Ксаны старик в реванном зипуне.

Она задержала на нем взгляд и подумала, что этот старик, наверно, охотно будет помогать новой, революционной власти и надо было бы таких бедняков, как он, собрать отдельно и поговорить с ними.

Но, когда снова окинула взглядом толпу, она заметила странное движение. Там шли какие-то перемещения, кто-то подвигался ближе, кто-то отходил, а ее, Ксану, как-то незаметно стали теснить к ельничку. Сворцов, споря о чем-то с группой крестьян, стал отдаляться, отдаляться и вместе с Марусей уже ушел с лужка к большому крестьянскому двору.

— А бога отмените! — ехидно спросил молодой парень, щура глаза и кому-то в толпе подмаргивая.

— Комиссаров над нами поставите? — крикнул кто-то издали.

— А земля-то чья будет? Наша чи ваша!

Сквозь толпу медленно пробирался тот крепкий скуластый мужик в накиннутом на плечи полушубке, который он изнутри придерживал руками, чтоб не распахивался. На лице его играла странная улыбка, он опустил веки и смотрел вниз, иногда лишь быстро бросал короткий взгляд на Ксану. Ксана заметила, что он пробирался не один; неподалеку в толпе двигался парень, с которым он иногда перекидывался как будто равнодушным взглядом, но не отдавал его некоторое время, и парень тоже смотрел на него, не мигая, и улыбался. Было что-то согласованное в их улыбках, взглядах, в движении через толпу в сторону Ксаны.

Ксана сама не понимала, почему, но ей был неприятен и этот мужик и этот парень, и она старалась не смотреть на них. Она отвечала на язвительные выпады, чувствуя, что отвечать уже не надо, ответа на них никто и не ждет, а просто хотят больше обидеть, задеть, вызвать спор, быть может, ссору. Инстинктивно она выискивала более мягкие вопросы и старалась найти союзника в том, кто их задал. А злые слова летели в нее, как камни.

Она решила, что, очевидно, говорит неубедительно, и собирала в себе все мысли, чтобы сказать что-то самое главное о Советской власти, о коммунистах, о будущей жизни.

И вдруг увидела, что толпа стала редеть, а мужик и парень уже стоят рядом с ней. Ксана подумала, что, вероятно, именно их, этих неприятных людей, надо привлечь на свою сторону, тогда станет легче и рассеется какая-то напряженность. Сама не понимая, откуда берутся слова, она что-то говорила и говорила этим приблизившимся мужикам со страничными, натянутыми улыбками на лицах, с высоко поднятыми плечами. Она обращалась только к ним, она глядела им в лицо и торопилась, торопилась, словно надо было успеть во что бы то ни стало убедить их. Ее теснили, она чувствовала людей сзади и с боков, они мягко прилипали к ней, и она уже шагала по хрустким веткам подлеска. Дальше идти было некуда.

Но позеди, за толпой, уже шли от деревни свои — несколько человек в военном, — кто-то из них издали громко крикнул:

— Разойдитесь!

За ними шла Надя, Ксана увидела ее беспокойные глаза.

Сильными руками раздвигая толпу, военные продвинулись к Ксане и отделили ее от криков.

Воробьев был одним из них; он обнял Ксану за плечи и повел ее из толпы; Надя и остальные шли следом за ними. На глазах толпа заметно начала расплываться. Мужики куда-то исчезли.

Воробьев, Ксана и все, кто был с ними, пошли по улице к дому, где квартировал Воробьев. У первого двора к ним бросился взволнованный Сворцов.

— Ну что? — спросил он. — Я так за вас...

— Ну, ничего, ничего, — спокойно ответила Надя. Воробьев махнул ему рукой, что ладно, дескать, чего тут говорить.

— Подозрительная была толпа, — все же сказал Сворцов и покачал головой.

Воробьев остановился, огляделся, прищуренными глазами проводил последних расходящихся крестьян и пробормотал сквозь зубы:

— Вот гидра, черт его матери!

Неторопливо он спрятал револьвер в кобуру. Ксана только сейчас увидела этот револьвер и удивленно спросила:

— А что там было?

Воробьев живо переглянулся со своими товарищами и невесело рассмеялся. Ослепительно сверкнули белые зубы на его янтарно-желтом лице.

— Вот и объясни ей, что здесь было...— И, поглядев на ее востроженное лицо, добавил: — А агитатор из вас, товарищ артистка, получится хороший! Даже не ошндаль!

ГЛАВА IX

КРАСНАЯ ЗВЕЗДОЧКА

Впереди завиднелся бор, одетый легкой сизовой дымакой; издала казалось, что это испаряется хвойный аромат.

Из бора вырвалось несколько телег, груженных набитыми чем-то мешками; двое верховых с карабинами скакали по сторонам. Возницы-солдаты стегали лошадей, торопились; лошади, сильно напрягаясь, тащили свой груз по неровной колее. Наконец выехали на дорогу, как раз навстречу обозу артистов.

— Кто едет, не поймешь,— сказал Адоньев, спрягнув с подвода и пошел по середине дороги.

Несколько артистов присоединились к нему. Ксана тоже подошла. Нади не было, она уехала раньше квартирмейстером.

— Еще на бандитию какую напоремся,— попробовал кто-то пошутить.

Встречные телеги приближались. Верховые отделились от них и выехали вперед.

Внезапно обоз артистов стал. Возница передней подвода соскочил, бросил вожжи на круп лошади и, вглядываясь в подъезжающих, охнул:

— Ой ты, матьнака ридна!

Остальные возницы тоже повскакивали с мест, стояли, ждали.

Верховые закричали, стаснивая с плеч карабины и бранясь:

— Чего стали! Проезжайте!

— Ну что ты, браток, что? — громким спокойным голосом спросил в ответ Адоньев. — Артисты едут, не видишь?

— Проезжайте, проезжайте,— снова закричали верховые и направили коней к обозу артистов. Увидя женщин, старика Романова, они успокоились и стали махать руками своими: дескать, ничего опасного нет, можно ехать.

Встречные телеги, тоже было приостановились, двинулись. Теперь было видно, что едут зерно.

— Ревизировали, что ли? — спокойно, по-дружески спросил Адоньев верхового.

— Ага! В лесу, дьяволю, прятали. В самой чащобе!

— Ой ты, маты моя ридна! — еще раз простонал тот же возница и сел на краю дороги.

Четыре веза с мешками проехали. С пятого человека в пиджаке, с винтовкой под мышкой, придерживая лошадей, закричал:

— Ну чего, чего там! Не видите, бандюков вазем! Расстрелять их к дьяволу, кулачье проклятое! Мать их!

Кроме человека в пиджаке, на телеге сидел красноармеец в буденовке, там же находились арестованные. Один из них лежал лицом вниз, спина его была в крови; связанные назад веревкой руки посинели и распухли. Двое других мужиков были обмотаны веревками спина к спине, они полувлежали, опираясь друг на друга. Лоб и щека у одного побароveli и вздулись.

Человек в пиджаке был бледен и зол; когда он говорил, губы его тряслись: видимо, нелегко далась ему победа. Он попросил покурить — кисет потерял в лесу. Адоньев достал махорку. Тот подставил ладонь, она была испачкана кровью, он второпях вытер ее о штаны. Адоньев насыпал ему в горсть махорки.

Один из связанных, седой, бородатый мужик с барговыми пятнами на лице, жадно покусился на махорку и отвернул голову.

Красноармеец в буденовке, докуривавший сигарку, свернутую из газетной бумаги, сильно затанулся, вынул изо рта всеми пятью пальцами окурок, оторвал слюнявый кончик, а сигарку сунул бородатому в рот. Тот суетливо втянул дым раз, другой. Красноармеец, обжигая пальцы, вынул у него изо рта окурок и бросил наземь. Лицо его было неподвижно, словно высеченное из камня.

— Ну, пошел, черт! — крикнул человек в пиджаке, дернул вожжи и вдруг улыбнулся Адоньеву и артистам широкой улыбкой, открывшей все его зубы и светлые десны.

— Захватил-таки гадов. Я их сколько ден ловил! А кони-то Видали! Сытые! — Он хлестнул лошадей вожжами, и они с ходу помчали скрипящую телегу. Артисты пошли к своим подводам.

Возница, что сидел на земле, поднялся и, шатаясь, как пьяный, влез на свое место, дернул с силой вожжи. Его шея и волосы на затылке были мокрые.

— Их расстреляют? — через некоторое время спросила Ксана Адоньева, который шагал рядом с ней по пыльному шляху.

— Кто его знает,— задумчиво ответил Адоньев. — Прятал зерно в лесу... А в стране-то голод... Да и сами здоровы!.. Им воевать бы, а не по лесам сидеть... Наверно, расстреляют.

— А кому она, та война, нужна! — закричал, поворачиваясь к ним белым, как молоко, лицом возница, который так горько призывал «ридну мать».— С мужика пять шкур дерут и белые, и красивые, и махновцы, и петлюровцы. Да куда деться от вас, пропасти на вас нет! — Последние слова он выкрикнул, почти рыдая.

Артисты шли молча. Никто не проронил ни слова. Только Дуса, сидя на подводе, вдруг ткнулась лицом в какой-то узел и простонала:

— Не могу я, не могу!..

Адоньев обернулся, посмотрел, кто это, задержался и, когда с ним поравнялась подвода с Дусей, пошел рядом.

— Ну-ну... — сказал он тихо и миролюбиво.— Ты ж у нас не самая малая. А, Дуса? — Он тронул ее за плечо.— Война! Кто не с красными, тот с белыми. Не на жизнь, а на смерть война. Тут уж, брат, надо держаться...

Дуса села, поправила волосы.

— Да я все понимаю,— пробормотала она горестно,— а душа не выдерживает.

— Эх, жаль, нет нашей пеаньши Надежды Александровны,— весело сказал Адоньев.— А то мы пристали немного.— И неожиданно тенорком лихо запел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это...

И будто все только и ждали песни — разом подхватили. На ходу построились, шагали в ногу и пели с каким-то зеселым азартом одну песню за другой.

Только старик Петр Михайлович Романов, не зная слов, приспосабливаясь к мелодии, аккомпанировал басом: «Бум-бом, бим-бум-бам!»..

Дорогу перерезала гряда невысоких холмов, покрытых иссохшей, прошлогодовой травой, потоптанной скотиной; за холмами невдалеке выдвинулись высокие хаты.

На холме, слиной к деревне, стоял мальчик лет восьми; его одинокая фигурка в куртке с отцовского плеча, в надетой набох старенькой ушанке вызвала щемящее чувство одиночества и беды.

Маруса Емельянова покривала ему, поманила его рукой, но он окинул ее равнодушным взглядом, отвернулся и стал всматриваться в ту сторону, откуда приехали артисты. Очевидно, он кого-то ждал издалека.

Ксана стороной взбежала на холм; мальчик увидел ее, когда она уже стояла рядом с ним.

— Ждешь кого, хлопчик? — спросила она.

— Деда, — после небольшой паузы ответил он, почему-то захлебнувшись: казалось, он заикается.

— А где твой дед?

— Там! — неопределенно мотнул он головой. — Небось, знает уж, что батьку убили. — Он сказал это тоном, каким, желким голосом и снова заикнулся.

— Кто ж его убил? Давно? — испуганно спросила Ксана.

Мальчик опустил голову и потупился.

Ксана подошла ближе, поглядела его по плечу. Бледное неумытое личико с темными засохшими подтеками говорило о долгих слезах.

— А вы какие? — несмело спросил ребенок. — Красные? Чи белки?

— Вот видишь? — Ксана сняла шапку и показала ему необычно маленькую пятиконечную звездочку из прозрачного ярко-красного камня.

— Хочешь эту звездочку? — спросила она, хотя любила ее и не собиралась заменить обычной красноармейской звездой.

— Хочу, — шепотом ответил мальчик, зажал звездочку в руке и взглянул на Ксану темными блестящими глазами с покрасневшими веками. — Еще в ту пятницу убили. Его вожжами скрутили. А то бы он не дался. Он ловкий был. Хоть и рука раненая. Его вожжами скрутили... На груди звезду вырезали... Я как закричал... — Он снова опустил голову, икота душила его.

— Пойдем с нами в деревню; кто у тебя там есть? Мама?

— Мамочки нема. Умерла, — прошептала мальчик. — Я деда буду ждать.

У Ксаны сдавило в горле. Как ему, маленькому да слабенькому, защититься в этой сумятице? Куда скорониться?

Обоз ушел далеко вперед, уже первые подводы выехали в деревню.

Ксана побежала догонять его, по дороге она оглянулась и помахала мальчику, он не ответил ей.

В хате, где Надя уже развела на припечке под таганком огонек, чтобы сварить картошку, хлопотливая молодая хозяйка рассказывала, что произошло в деревне.

— Тот Петро с фронта недавно воротился. Рука у него перелитая. Ну, за коммунио он агитировал, верно. — Она выглянула в окно, крикнула кому-то: — Залезь, доношко, под крыльцо, там, может, куры нячек несли, так достань трочку, пусть себе красноармейки яишенку изжарят... Да посмотри там маль-

ца, где он делся... Дочка моя, помощница, десятый годок пошел, — объяснила она, оборачиваясь к своим постояльцам, — так все втроле и бедую, я с ней да мать моя. — Она поглядела на старуху с болезненным белым лицом, сидящую на пороге и перебирающую горох в решете. — Хозяин мой все с обоями, придет, вновь забирают, кобылу совсем загнал. Сам с детства хромоножка.

— Так что же сделали с этим Петром? — нетерпеливо спросила Ксана.

Женщина быстро сняла с таганка чугунок с картошкой, слила воду и села на лавку, вытряхивая трепкой свои полные небольшие руки.

— Помещичью землю засеять надо! У нас-то на свою зерно нет. У кого взяли? У курулеу взяли. Он да братья Охрименки нашли этого зерна, дай боже — в земле было зарыто, — все село накормить можно. Взяли на посев, сколько-то оставили. Та злобу затаили. А тут налетели бес их знает кто, с погонами, белые, а может, которые в лесах отсиживаются или на хуторах у кого прячутся. Я так соображаю, — запела она, — привели их сами курулеу наши, Лобода-лавочник да сын его, он тут самый вредный, контра, у Дежиника служил. Не знаю, как уж он вернулся, совсем ли, нет ли, не знаю. Он-то и связал Петро вожжами да и тащил по улице, а потом, помилуй бог, звезду ему на груди вырезал.

А над Охрименками что творили! Моего сама судьба пожалела, в обоз взяли. Он ведь с Петро-то душа в душу, коммунио оба хотели, чтоб земля общая была. Только я не знаю, уж какая коммуния, когда есть такие курулеу. Мы тут ни живы, ни мертвы сидели, думали, пропадем... Ну чего вы, мама, плачете? Чего душу разрываете? Тех гадов, убийц, уже взяли. Им теперь отольются соленные слезки... Раскопали у них в лесу ямы, зерно реквизируют. Всех их захватили. Сегодня, как вам приехать, — кивнула она Ксане.

— Надя! Так это я видела, как их везли! — вскрикнула Ксана. — Убийц этих... Еще наш возник один плакал... Жалел их...

— Не слезами, пусть кровью обольются, — с горечью проговорила хозяйка. — Хлопчик тут есть маленький, так на глазах его отца терзали.

— Где этот мальчик? — спросила Ксана. — Как он жить теперь будет?

— Он деда все ждет, на горки ходит, высматривает. А тот сам хворый, недалечко тут, на хуторе, живет. Как узнал про Петро — тот зять ему, — ноги у старого отнялись... Хлопчик теперь у нас, куда ж ему... Ну чего вы, мама, как завелись? Сил моих нет смотреть на вас.

Женщина встала, улыбнулась Ксане и Наде, покружилась по хате, ломая руки, слезы стояли в ее карих блестящих глазах.

— Да что ж это я вам горести все рассказываю?.. Картошка остыла, яишенки не сжарили, сейчас я заведу.

Надя достала хлеб, очистила несколько картофелин.

— А этого денякница, как его... сына Лободы, нашли?

— Нашли, — колыхалась у печки, отозвалась хозяйка. — В лесу застгли. Там у них и продовольствие и как бы оружие не было припрятано... Только бы Червона Армия не ушла с нашей деревни. А то нам пропльсть. Всех иничтожат. У нас контра тут!.. Какая уж тут коммуния!

— Коммуния, коммуния, — слабым, хриплым голосом закричала старуха, — сбесилась? Что ты смыслишь? Да сдались тебе коммуния на что! Живи тихо

да молчи, пока кто не услышал, а то саблями изрубят.

— Да не хочу я молчать,— выпрямившись и краснея от гнева, ответила хозяйка.— Всех не изрубят, теперь уж к нам Советская власть пришла. Довольно нам сплуну гнуть. Ленин, слышали, мамо, что нам обещает? Достато! Справедливость! Вот что! И чтоб не было у нас куруллей!

Она хотела еще что-то сказать, но дверь открылась, и вошел хлопчик, тот самый хлопчик, сын убитого Петра.

С ним была рослая кареглазая девочка, очевидно, Гая.

— Мамынька,— сказала она.— Павличко исты хочет.

— Ах ты, мой сыночек! — засуетилась женщина.— Иди руки мой да садись за стол. И ты, Галио, с ним, посподидай, голубочки.

— Нема деда! — печально, по-взрослому сказал мальчик, скинул с себя куртку и долго оглядывался, куда положить ушанку. Свернул ее в трубку, подумал и заткнул за пояс.

Гая засмеялась, вырвала у него шапку и, совсем как ее мать, ласково стала уговаривать:

— Туточки положим, рядышком с тобой, на скамеечку.

Мальчик хмуро огляделся. Его глаза задержались на Ксане, он узнал ее, губы его чуть тронулись, но улыбки не получилось. Своим наморщенным лобком и сутулостью он напоминал маленького старичка.

Сердце Ксаны сжалось. С гневом и отращением вспомнила она тех арестованных, что встретились им сегодня по дороге.

А Дуся-то заволновалась. Не знала, за кого волнуется.

Ксана стояла и с болью наблюдала за мальчиком. Он опустил голову и, схватив свою ушанку, машинально тербил ее. Ксана увидела приколотую к ней звездочку.

Ей хотелось что-то сказать мальчику, утешить его, но она не нашла слов, только провела рукой по его давно не стриженной голове и просящими глазами посмотрела на хозяйку. Та печально покивала ей головой.

— А к вечеру мы с тобой, сынок, вместе пойдем до дйда. И Галио с собой возьмем. Так? — обратился хозяйка к Павличку, накладывая в миску картошку.— Ты только не печалься, голубок. Вон Червона Армия пришла, у нас теперь жизнь будет хорошая. А батьке твоему, мученному, красному герою, мы на могиле дубок посадим, чтоб люди помнили, кто здесь закапал. И ты, голубок, вырастешь тоже красным героем. Чи не так? — Она все щебетала и щебетала, потом подошла к старухе, быстро отерла ее лицо тряпочкой и, глотая слезы, тихо проговорила:

— Ну, мамо, пожалейте меня, Христом-богом прошу, что вы, как дите малое, все плечете? Теперь уж наша взяла, мамо! Наша взяла!

ГЛАВА X

ИМЯ НЕИЗВЕСТНО

Плак, куда надо было доставить письма, газеты, брошюры, стоял в ближней деревне, всего в каких-нибудь семи-восьми верстах от села, где разместились артисты. Ксана сама вызвалась пойти туда. Она уже несколько раз одна, а иногда с Надей

или еще с кем-нибудь из труппы отправлялась на передовую линию фронта по поручению политотдела дивизии. Чаще всего это была читка красноармейцам какой-либо брошюры или газетной статьи.

Сейчас Ксана ждала, когда комиссар Адоньев перевезет пачку с газетами и письмами, которую он принес из подива¹, и задаст свои обычные вопросы:

— Идешь по направлению к фронту. Поняла?

— Поняла.

— Значит, смотри в оба. Дорогу расспросила?

— Расспросила.

— Ну так. Придешь к комиссару...

— Да я знаю,— нетерпеливо улыбнулась Ксана.

— Так что... Не боисься одна? Жаль, Надежда прихворнула.

— Ничего, я не боюсь.

— Смотри, какая хребрая!.. Спросишь комиссара, может, газеты почтитать, письма неграмотным!..

— Ладно. Спрошу.

— Ну все. Тонай!

Ксана легко подняла пачку и пошла по узкой улице, а вернее, просто по затвердевшей глинистой коле. Идти было неудобно, и Ксана зашагала рядом с колею, прижимаясь к хворостинным плетням.

В деревне было тихо и смутно; редкая баба, проходя, оглядывалась на Ксану. Несколько лет, еще с империалистической войны, здесь квартировали солдаты, одни уходили, другие занимали хаты, крестьяне понору встречали их и только молча глядели в землю, когда от них требовали хлеба, лошадей, какой-нибудь снеди.

Сразу за деревней широко распахнулись дали. В тишине и безлюдье простирались поля, зажатые песчаными пустошами, мелколесьем, овражками. Земля еще лежала неспаханная, твердая, с едва проклюнувшейся травкой, ждала человеческих рук. Ксана особенно любила свои путешествия потому, что в эти часы она оставалась наедине с природой.

Прохладный ветерок с легким шумом касался щек Ксаны. Ей казалось, что это дышит земля, может быть, о чем-то шепчет на своем земляном языке.

Бледное теплое солнце купалось в дымчатом море, оно уже перешло середину неба и катилось вниз, его лучи начинали нежно окрашивать горизонт в розовые и сиреневые тона заката.

Все было значительно в природе, словно за той красотой, что видна людям, таилось еще что-то невидимое, полное скрытой силы и своего, особого разума.

«Боже мой, как хорошо! — подумала Ксана.— И печально, и все равно хорошо. Кругом война, раненые, горе, где-то живет Павличко с истерзанной душой, а в природе прекрасно...»

Она шла и шла одна в этом немерянном пространстве, где была земля и огромное круглое небо. Позади оно оставалось таким, как обычно, голубовато-синим, а впереди, у горизонта, словно раздвигался занавес, и она входила туда, как в золотые ворота, за которыми начиналось царство розово-желтых, малиновых, огненных красок. Но это было нечто большее, чем царство красок; казалось, там находится особый мир иных радостей и иных печалей.

Вдалеке замаячила какая-то черная точка, она росла, приближалась. Кто-то ехал ей навстречу, лошади шла шагом. Всадник задумчиво качался в седле, и Ксана подумала, что он тоже, наверное, во власти этой зачарованной природы.

¹ Политотдел дивизии.

Он подъехал и разом соскочил с седла.

— Ксана! Куда это вы!

Это был Алеша Крушенок из дивизионной школы. Она знала его. На фронтовых перелютах часто перекрещивались дороги ее и Алеши. Они любили перекинуться словом, какой-то тревожащей мыслью, немного и сдержанно рассказавши о себе, о своих близких. Иногда касались тех общих вопросов, о которых Ксана так часто говорила с Колей, о людском горе, о нищете, о несправедливостях жизни, о законах, которые должны быть...

А еще Ксана знала об Алеше, что он поэт. Он не читал ей своих стихов. Только однажды, когда они долго шагали рядом с обозом, он тихоныко напел ей свою песенку.

И Ксана в ответ дала ему на один вечер тетрадку со стихами. Тетрадок было много. Но Ксана дала только одну, где были самые неинтересные стихи. Ей казалось, что это еще можно себе позволить. Но тех, в которых было что-то очень ей близкое, никому и никому показывать нельзя...

— Куда это вы, Ксана? — повторил Алеша, и карие глаза его стали круглыми и черными.

Ксана рассказала, куда идет.

— Это ужасно, — сердито пробормотал Алеша. — А почему же не пошел с вами еще кто-нибудь?

— Да я сама, я сама так хотела, — засмеялась Ксана.

И она невольно огляделась вокруг и стихла, не умея и не желая выразить своего восторга перед тем прекрасным, что окружало ее. Это была ее тайна, как были тайной ее стихи, которые она писала, и люди, которых она любила, сама того не зная.

— Посидим на этом пригорочке, — предложил Алеша. — Здесь сухо, и трава уже пробилась.

Они сели. Алеша закурил. Ксана тоже свернула тонкую самокрутку из махорки и, неумело держа ее, задумалась. Было тихо, только фыркала и переступала с ноги на ногу лошадь.

— Хорошо здесь. Люблю простор, поля, — сказал Алексей и вздохнул.

Ксана, улыбаясь, молчала.

— Не могу я понять вас, Ксана, — неожиданно заговорил он, — не то вы отчаянная, не то просто еще ребенок и не понимаете, что делается вокруг...

Упираясь локтями в колени, он сидел на пригорке, свесив голову вниз.

Ксана встала, подошла к лошади, похлопала ее по шее, погладила в ее печальные глаза.

— Я нигде не пустил бы вас... — ровным голосом, без интонаций сказал Алеша. — Я почему-то совсем не понимаю вас, кто вы. И зачем вы здесь. Женщин, которых я вижу на фронте, каждую по-своему я понимаю. А вас нет. Зачем вы здесь? Совсем еще дитя... Среди всей этой крови и грязи!

— Что вы говорите, Алеша! — вспыхнула Ксана. — Значит, мне надо было сидеть дома, учить уроки? А здесь пусть работают другие? Да?

— Не знаю! — Алеша встал, вытирая из-за голенишки сток и хлестнул себя по сапогам. — Там, где сейчас я стою на квартире, — начал он другим, мягким и тихим голосом, — под окном растет сосенка. Я по утрам с ней здороваюсь. А вчера ночью не спелось, сосенка качается перед окном, прямая, тонкая... И я ей тоже кивал. Откуда она здесь?!

— Ну вот! — не зная, что сказать, пробормотала Ксана. — Пойду. А то поздно будет возвращаться.

— По правде скажите: не боитесь?

— Конечно, нет! А чего я должна бояться? — с

вызовом спросила Ксана и подняла с земли свой тучок.

— Подождите, — решил вдруг Алеша. — Берите мою лошадь! Я бы сам вас проводил, да у нас учения.

— О-о! — радостно охнула Ксана. — Это чудно! Это замечательно! Правда, можно? А то, говорят, какой-то строгий приказ насчет лошадей...

Ксана только недавно научилась ездить верхом и редовалась каждому случаю прокатиться на лошади. И сейчас она, не дожидаясь ответа, сразу занесла ногу, чтобы попасть в высокое стремя, но Алеша подставил ей колено, и она, осторожно ступив на него носком, легко вспрыгнула в седло.

— Вернетесь, может, доведете коника; мы тут же остановились, за селом, на хуторе. Или расседайте, во дворе поставьте, я сам приду за ним.

Привязывая сбрую к седлу ее тучок, не глядя на Ксану, Алексей продолжал свою прежнюю мысль:

— Мне очень хочется с вами поговорить обо многом, обо многом... Не спеша, не на ходу...

— Ну спасибо! — весело крикнула Ксана, едва он привязал ее ношу. — Мы обязательно поговорим. При первой же встрече... — Она тронула повод, лошади сразу пошла. — Вы даже не представляете, как я люблю верхом... Теперь я быстро домчусь, — говорила она, повернувшись в седле и, удаляясь, махнула ему рукой.

Алеша долго стоял, провожая ее взглядом.

Деревню, где должен был находиться полк, Ксана разыскала быстро. Но две роты вместе с командиром полка утром ушли вперёд и расположились где-то в поле. Здесь же, в деревне, царил какой-то тихий свет и озабоченность. Все торопились, бежали куда-то, и толком что-либо узнать было не о чем.

Солдат здесь встречалось немного, полк был сильно потрепан в боях. Военкома Ксана не нашла, он тоже уехал куда-то на хутор. Она спешила, чтобы разыскать, побродила по длинной улице, зашла в хату выпить и вышла на площадь, где стояли возы без лошадей. С трудом она разузнала, как найти те части, что ушли с командиром полка, и направилась туда.

Предполагая, что это близко, Ксана пошла пешком, ведя коня на поводу.

Меж тем вечерело. Огромное желтое солнце сияло в небе, золотило черное поле и медленно падало вниз.

Ксана шла долго по кочковатому полю, вперед было пустынно, безлюдно. Уста от неудобной дороги, как с трудом взбиралась на лошадей и всеглядывалась к кустарникам, к полям, к дальней рощице, не видно ли издали солдат. Ей даже стало немножко жутковато: куда же она едет?

Но неожиданно у небольшой сосновой рощицы возникла фигура красноармейца; он шел навстречу. Ксана заметила, что и в роще есть люди; у самой опушки стояло орудие.

Боец, держа перед собой винтовку, приблизился, хмуро разглядывая Ксану. Она попросила ответить ее к командиру или к комиссару, объяснила, что привезла письма, газеты.

И вот она в редком сосняке. Очень молодой, худенький, светловолосый человек, бледный до голубизны, с суровым выражением лица, поднялся с лафета орудия; окружавшие его солдаты расступились.

Громко, с чувством радостного возбуждения, Ксана стала рассказывать, как она давно ищет их, как уже хотела возвращаться...

— Тш! — остановил ее юный командир. — Говорите тихо. Все разнесится. Враги близко. Могли выслать разведчиков.

— Так близко, — удивилась Ксана, — что могут услышать? И впереди уже наших войск нет? Командир развел руками и улыбнулся.

— Вы одна? Письма — это хорошо, что вы привезли. — Он передал пакет кому-то из окружающих. — Раздай там. А то не успеют дотемна прочитать. И посмотрите, нет ли мне... А вы очень устали! — обратился он снова к Ксане. — Ведь надо возвращаться.

— Сейчас? — удивилась девушка. — А лошади нужно было бы отдохнуть. — И так как он промолчал, она добавила: — Да вы не думайте, что я в темноте побоюсь ехать.

— Нет, я не потому...

Они стояли друг против друга, немного смущенные: он потому, что не может оказать ей обычного фронтowego гостеприимства и гонит ее, усталую, обратно; она потому, что явилась несвоевременной гостьей, пожалуй, даже помехой, что надо снова ехать по этому большому, бесконечному полю, а уже смеркает...

— Понимаете, у нас тут не очень-то тихо... В общем, ожидают кое-какие события... — Юноша говорил это чуть небрежно, как говорят старшие братья своим маленьким сестрам-немысленным, он даже басил для солидности и поигрывал кожаным портсигаром, подкидывая его на руке. — Пойдете, я немного прошею вам... — Он потрепал лошадь, взял повод и пошел вперед.

Ксана молча шагала за ним, глядя сбоку на его усталое лицо.

— Я охотно дал бы вам провизии, — сказал юноша, оборачиваясь к ней, — но нам сейчас каждый человек нужен... Нас мало... Очень мало...

— Подождите, — перебила его Ксана, — я поеду, может, кому сказать надо, чтоб прислали людей?

Он забко подернул плечами. И здесь, уже вдали от солдат, он заговорил просто, не рисуясь, словно сам с собой, а не с чужой девушкой, артисткой, которую видел до сих пор лишь издали.

— Это знают. Да что ж подлаешь? Нет, значит. И с оружием плохо. У нас есть трехдвойка, а снарядов нет, да один пулемет. В сущности, мы... безоружны против них; обещали прислать небольшое подкрепление, да вот нет...

— Подождите, — остановила его Ксана, тронутая открытностью и доверием. — Я сейчас поеду. Не надо меня провожать. Идите к своим. Вдруг что-нибудь там случится.

— Сейчас нет. Светло еще. — Он огляделся вокруг.

В тусклых сумерках стояло безмолвие, тайное, враждебное.

Губы и brows юноши были изломаны печально, он постоял, ежась от холода: шинель его осталась на орудии. Ксана вскочила на лошадь и чуть нагнулась к нему.

— Мне почему-то вы кажется совсем знакомым, то есть как будто из нашей гимназии, вы так напоминаете мне наших мальчишек...

Он резко вскинул голову и хмуро посмотрел на Ксану.

— Нет, вы не обижайтесь, — торопливо проговорила она. — Наши мальчишки были такие верные, настоящие... Самые дорогие...

Юноша придвинулся ближе и вдруг на секунду прижался лбом к ее колену. Ксана провела рукой по его голове. Он быстро и неловко взял ее руку и поцеловал.

— Я прощаюсь через вас со всеми, кого оставляю.

— Не надо так, — испугалась Ксана. — Что вы говорите! Будьте мужественны!

— Я никогда не был трусом! — резко и гордо отстранился он. — Я на такой уж юнец, два раза был ранен. Мы делаем свое дело так, как подobaет.

Векни его на миг опустили, словно он хотел взглянуть сам в себя, потом — глазами, полными тоски, посмотрел на Ксану, на небо, по сторонам и сказал спокойной:

— Мы здесь форпост. Мы выстоим, пока другие части перегруппируются. Я сам вылезал задерживать. Вот... Если когда-нибудь что-нибудь услышите об этом бое, знайте, я сделал все, что мог. И солдаты нашего полка тоже. Вы не представляете, какие это герои!

Он повернулся и быстро зашагал обратно.

— Подождите, — негромко позвала Ксана. — Я даже не знаю, как вас зовут.

— Командир полка Моисеев, — бросил он на ходу, чуть обернувшись к ней.

— А имя? Имя? — прошептала Ксана, но он быстро уходил, не оглядываясь. Она подумала было догнать его верхом, покрутилась с лошадью на месте; в сумерках его тонкая фигура таяла, казалась уже далекой.

Ксана решительно повернула лошадь домой, к своему селу, и погнала ее рысью.

Смутно и печально было у нее на душе. Слово проводила на смерть дорогого человека.

Сумерки стужились. Ксана вглядывалась в дорогу, ехала, больше полагаясь на лошадь, чем на себя. Черная земля расплывалась под копытами, редко мелькал кустарник. Вот наконец деревья, где она искала полк. Сейчас здесь было тихо и темно. Ни одного огонька не светилось вокруг. Ни скрина, ни возок, ни говора людского — все словно вымерло. Только возле одной хаты у изгороди стояли две девушки, тихо о чем-то говорили, сморкались, наверное, плакали. Увидев верхового, они бросились во двор. Из-под нахнутых кафтанов мелькнули вышитые рукава рубах. «Чего они так испугались? — подумала Ксана. — Мало ли здесь верхом проезжали! О, да ведь, наверное, отсюда все солдаты ушли, — вдруг догадалась она, — потому так тихо!»

Озноб побежал по спине. Она быстрой погнала лошадь. То, что часть так поспешно покинула деревню, подтверждало ей слова Моисеева. И хотя она мало разбиралась в военных делах, она поняла, что пока там его полк будет задерживать неприятеля, здесь должна происходить переброска, перегруппировка войск. И она уже началась.

Ксана ехала и думала об этом незнакомом юноше, имени которого не знала, вспоминала его слова, его скупые жесты, хмурый взгляд, бледное юное лицо...

«Господи, пусть бы он остался жить, пусть бы ничего не случилось!» Ей хотелось кого-то просить — неужели Бога, неужели бога? — думала она с тяжким огорчением, — или судьбу, что ли, просить, умолять, чтобы его оставили в живых, только на этот раз оставили, а дальше уж, наверно, не будет тако-



го опасного положения. Пусть только пройдет этот раз!»

Совсем стемнело. Луны не было. Ксана с трудом различала в темноте признаки, по которым определяла дорогу. «Вот этот овраг оставался вправо. А этих холмиков вроде не было. Но не заблудилась же я!»

Скоро местность стала более знакомой, очевидно было, что деревня близко, и Ксана пустила лошадь шагом. Действительно, издали различались хаты, клуны, редкие огоньки. Даже показалось, что пахнет дымком.

Ксана остановила лошадей, поглядела назад. Здесь словно был рубеж, дом, защита. Позади осталась опасность для дорогих людей и гордость за них. И боль.

Лошадь усталым шагом пошла к селу.

На душе у Ксаны было горько и торжественно. Она не могла бы объяснить, чем полна ее душа. Ведь не только жалостью, нет, и не просто симпатией к человеку, готовому биться и умереть за свои идеалы, и даже не состраданием. Кто скажет, отчего человек плачет и страдает, слушая самую дорожную для него музыку? Отчего человек волнуется и долго не может успокоиться, глядя на прекрасную картину? Есть люди, которые не плачут и не волнуются. Музыка касается их слуха, но они ее не слышат, взор их скользит по картине и спешит далее.

Но Ксана ехала и плакала, не вытирая слез, горько и мучительно, словно души ее коснулась музыка.

Кто-то шел ей навстречу быстрым шагом, она хотела посторониться, но человек упрямо шел к ней, почти под копыта лошади.

— Что такое? — спросила Ксана, плохо различая человека и не соображая, что происходит.

— Ксана! Наконец! Я думал, что-нибудь случится. Решил идти навстречу.

Секунду она не могла понять, кто это. Ей даже показалось, что она вернулась в сосняк и ее встречает Моисеев.

Алеша встречал ее. Так не нужны ей были сейчас люди, так не хотелось ничего объяснять! То, что осталось позади, было чем-то очень значительным и далеким от обычных дел этой жизни. И те люди в сосняке и бледный юноша, их командир, были герои, о которых говорить надо было тихо или думать молча. Но здесь, на фронте, люди понимали все просто, естественно: бой, мало оружия, мало патронов, смерть; или: кто-то должен остаться, залпнуть, отдать жизнь; все это было обыкновенно. Ксана не умела понять это обыкновенное, и в душе

ее все еще звучала мелодия, в которой жила высокая, непостижимая красота человеческой души, и мучительная боль за нее, и смирение перед великой необходимостью...

— Ничего не случилось, — ответила она, возвращаясь в обычный мир, вздохнула, вытерла рукой лицо и спрыгнула с лошади. Земля качалась под ней, в ногах бегали мурашки.

— Вы... взволнованы чем-то? Я вижу, — сказал Алексей.

— Там такие герои! — проговорила Ксана и, испугавшись своего дрожащего голоса, замолкла. Потом добавила твердо: — Берите лошадей, Алеша, езжайте домой. Я дойду.

— Вот что, — ответил Крушенко. — На фронте дела неважные. Говорят, против нас польская армия выступила. Не дают нам передышки... Поспешите домой... Наши отступают.

— Я знаю, — вдруг осмысливая все события вечера, проговорила Ксана. Она машинально взяла протянутую ей папиросу, но не закурила, а тут же бросила.

Они прибавили шаг и шли молча, думая каждый о своем. Только лошадь всхрапывала и тяжело вздыхала.

ГЛАВА XI

В ТАЙНОМ ЯЩИЧКЕ МОЗГА

Дань был прохладный, хотя солнце то и дело ненадолго пробивалось из-за толщи туч и снова пряталось. Ветер шевелил ветви кустов и деревьев, курившихся зеленой дымкой. Чуть поморосило. Водяная пыльца покрыла шинели и лица красноармейцев.

Они стояли нестройной толпой, потягивали «козьи ножки», по привычке прचा их в рукава, переговаривались. Командиры кучками топтались возле них, поглядывая в ту сторону, где находилась небольшая группа дивизионного начальства — штабные, политотделы. Ждали начальника дивизии. Должен был состояться митинг. Митинг этот, видимо, был особенно значительным в связи с переменой на фронте.

Высокий немолодой солдат в короткой, до колен, шинели немудело пытался проиграть что-то на случайно оказавшейся трубе; у него ничего не вышло, а он, надувая худые желтые щеки, трубил все одно и то же.

Артисты теснились у домов на узком тротуаре. Они не знали, могут ли здесь присутствовать — их никто не пригласил, видимо, в спешке забыли, — но всем хотелось посмотреть, что здесь будет, хотелось увидеть и послушать нацива, он, наверно, расскажет о делах на передовой.

А дела были тревожны. Панская Польша двинула свои полки на Украину и пошла занимать города и села, держа курс на Киев.

Энергичным шагом прошел через площадь и присоединился к штабным молодой комиссар дивизии в бурке и кавказской папахе. Многие проводили взглядом его стройную фигуру. Усатый солдат зашептал молодому:

— Парень боевитый, не гляди, что молодой. Сам в бой лезет. Храбрый! И трусов терпеть не может, будь то хоть и командир полка. А уж тем, что в крестьянскую скрюно заглядывают, не ждать пощады. Расстреляет! Парень с башкой, разуму не занимать.

Артисты не раз встречали его, когда он, обгоняя обоз трупы, проезжал мимо верхом один или с нацивом. Следом за ними мчались несколько военных.

Ксана еще тогда обратила внимание на юношу в картинно развевающейся бурке, с гордо поднятой головой, словно он глядел далеко вперед и не видел того, что находилось вблизи.

Сейчас она рассмотрела его. В резко очерченном, южного типа лице, в огненных глазах чувствовалась воля и власть. «Умный, видно, — подумала Ксана, еще по школьной привычке определяя достоинства человека по внешнему виду, — только зачем-то рисуется».

Появились еще командиры. Пробежали по площади в разные стороны вестовые. Красноармейцы приносили знамя. Гомон затихал.

Перекрикивая друг друга, командиры стали выравнивать свои части. Из переулков еще подходили опоздавшие, но уже вся площадь настроилась сурово и торжественно.

Начинался день, полный особой, напряженной значительности, как это могло быть лишь на фронте, где решалась судьба революции, где как раз в это время армия отступала. И хотя артисты стояли отдельно, не втянутые в то общее движение, что здесь происходило, Ксана ясно ощутила свою прямую причастность к этому дню, ко всей фронтовой жизни, к этому митингу, который был выражением чего-то большего, важного, как бы клятвой. Ее лицо и уши горели, она откинула на затылок свою старую ушанку из позеленевшей мерлушки и стала прислушиваться. И хотя еще только строились войска и митинг еще не начался, ей казалось, что вот сейчас от каждого и от нее, Ксаны, потребуют куда-то идти, что-то делать нужное, трудное, может быть, смертельно опасное. И она готова была идти и немедленно исполнять то, что ей скажут, чем бы это ни грозило. «Самое дорогое — это Россия и революция...» — вспомнила она, сама удивляясь наблюдающему воспоминанию, и с силой тряхнула головой, чтобы не терять своей глубокой сосредоточенности...

Какое-то замешательство происходило в группе, где находилось командование. Громкий и сердитый голос что-то выговаривал растерянному красноар-

мейцу, беспомощно оглядывавшемуся по сторонам, будто он ожидал кого-нибудь, кто его выручит. А командирский голос все повышался, и неожиданно, покрывая общий шум, громко, на всю площадь прозвучала грубая солдатская брань.

Ксана вспыхнула, словно ее обожгло. Кто ж это!.. В такую минуту!

Она взглянула и осеклась. Комиссар? Тот красивый юный комиссар дивизии? Не помня себя, она бросилась через площадь к островку, где собралось командование. Все взгляды обратились к ней.

— Это вы? — крикнула она, с гневом глядя в лицо под черной кавказской папахой и не замечая никого больше вокруг. — Это вы!.. Как вам не стыдно! — Она захлебнулась и не сразу смогла продолжить. — Красноармейцам мы объясняем, и они слушают нас... и стыдятся... и стараются сдерживаться, хотя они необразованные и неграмотные... Это же Красная Армия, а не белогвардейцы... И мне сейчас стыдно за вас, комиссар дивизии... Голос ее прервался, она повернулась и побжала прочь, в своих больших сапогах и длинной шинели, маленькая, раскрасневшаяся, сердита.

Она не видела, как серьезно слушала ее вся площадь, как побледнело лицо под черной папахой.

Когда она добежала до калитки дома, где ночевала, кто-то громко подал команду, и сильные мужские голоса в бодром темле закрили:

« Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе... »

Ксана остановилась и тоже запела, громко, яростно, словно подчеркивая какую-то свою большую правоту. Мальчишки из «Зойкиной коммуны» сейчас же придвинулись к ней, стали рядом, будто готовы были защититься ее, и пели своими неокрепшими, но мужественными голосами. Надя пожимала ей издалека, широко улыбаясь.

Очевидно, пришел нацив. Все кругом зашевелилось и разом стихло. Ксана, зажатая собравшимися на тротуаре, не видела его. До нее донеслось лишь начало митинга. Слова нацива гулко разносились и тянули в воздухе. Ксана прислушивалась, ничего не могла разобрать. Может быть, их заглушал стук ее сердца. Чтобы успокоиться, она ушла в дом.

В комнате, где она и Надя ночевали, стояла молдая, хорошо одетая девушка и глядела через окно на площадь.

— Извините, — сказала она, увидев Ксану. — Я на минуту зашла.

— Отчего же вы извиняетесь? — удивилась Ксана. — Это же, наверно, ваша комната?

— Какая же она наша, если ее реквизируют для вас? — с обиженой ноткой в голосе ответила девушка и пошла к двери.

— Да ведь мы здесь только на время. Не сегодня-завтра уведем, — торопливо объяснила Ксана. — Надо же нам где-то... — Но, заметив презрительный взгляд девушки, Ксана умолкла. «Почему, собственно, я объясняю ей, словно в чем-то виновата? — подумала она. — И почему она так презрительно смотрит?»

Действительно, девушка оглядела Ксану с головы до ног и насмешливо сощурила глаза. Несколько секунд они стояли молча друг против друга: шестнадцатилетняя девочка в сапогах и шинели и девушка лет восемнадцати в синем платье и голубой шелковой безрукавке на белом меху.

— Вы тоже воюете? — спросила нарядная девушка. — Вместе с солдатами?

— Воюю! Вместе с красноармейцами. За Советскую власть! А вы?

— А я нет! — вызывающе ответила девушка. — Воевать—дело мужчин. Я собиралась поступать в университет, да война помешала.

Университет... Какой же университет, если кругом еще столько врагов! За Крым цепляются врагеловцы, по Украине гуляют банды. Да наступают белополяки. А кто же не хотел бы учиться в университете? Ей, этой свеженькой, нарядной, небось, все равно, кто победит.

— Удивляюсь вам, — продолжала девушка. Она уже пошла к двери, но задержалась и бросала теперь слова через плечо. — Удивляюсь вам. Как вы попали в эту Червоную Армию? Как вы можете жить и находиться в этой среде, в грязи!.. Я слышала, как вы отчитывали того красавца. Вы же, кажется, интеллигентная?

— А вы почему не уехали отсюда с вашими петлюровцами, или с гетманом, или с какими-нибудь беляками? Их-то вы, наверное, не презирали? Они-то ведь такие блестящие, чистые! Зачем вы остались здесь?

— А что? — Насмешливое лицо девушки стало серьезным. — Не мое дело заниматься политикой. Я хочу получить образование. Мне не нужны никакие гетманы. Тем более ваша Червонная Армия, где все неграмотные, темные. Вы-то от какого горя пошли в солдаты?

Ксана молча, с какой-то тяжелой думой смотрела на девушку. И такая тревога и печаль были в ее глазах, что нарядная девушка словно застыла, она не могла уйти и чего-то ждала.

— Кто же вы такая? — наконец спросила Ксана. — Мы воюем с контрреволюционной армией, а такие, как вы, спокойно живут в нашем тылу и ненавидят нас. И, наверное, вас много! Служите, небось, где-нибудь в нашем ревком или комиссариате? А сами смеетесь над нами? И хотите учиться в нашем же университете. Как нам жить с вами вместе?

Нарядная девушка повернулась к Ксане и с ужасом смотрела на нее широко раскрытыми глазами.

— Я ничего такого не сказала и не сделала, — прошептала она.

— Чего вы боитесь? — болезненно морщась, сказала Ксана. — Вам нечего бояться. Это скорей я вас боюсь. Потому что вы чужая. Вы ненавидите нас... Она посмотрела на девушку с укором. — Если б вы знали, как много погибает людей, таких хороших, честных, хотя они часто и неграмотные! Они умирают за будущую жизнь, справедливую, добрую. И вы тоже будете пользоваться всем, что они завоевали... Вот и учиться в университете... А что вы-то сами сделали хорошего? Что? Только смеялись над нами! — Эти слова Ксана выкрикнула с силой и замолкла, боясь своего растущего гнева. Она бросила на кро-



вать шапку, которую держала в руках, и отошла к окну.

На улице громко, мужественно зовучал «Интернационал».

— Вы меня плохо поняли, — услышала Ксана. — Мне просто стало жаль вас. Такая молоденькая. Вокруг грубость. Не думайте, что я безразличная к беде, а как раз жалостливая. Я и вас пожалела: вам приходится слышать и видеть бог знает что...

— Никто не нуждается в вашей жалости! Они грубые, — кивнула Ксана в окно, — но они честные, справедливые, и я их уважаю. А вас нет, не уважаю! — Она махнула рукой, давая понять, что говорить больше не о чем.

«Это надо продумать», — сказала она себе, — сказала она себе, — спокойно, одной продумать. Не забыть». Такая привычка была у нее с детства. Откладывать какую-то сложную мысль в тайный ящик мозга, чтобы потом, в тихую ночную минуту, разобрать ее до конца. Девушка уже ушла. Ксана достала тетрадку со стихами и записала:

«Как жить с теми, кто хочет жить только для себя? И тут же подумала: «Нет, что-то не так. Только для себя? Значит, это безразличные к делам всех людей. Безразличные? Нет! Не может быть. Это не безразличные. Это чужие. Им наша революция не нужна...»

Кто-то постучал. Ксана оглянулась, подумала, что вернулась та девушка, подошла и распахнула дверь. Перед ней стоял комиссар.

— Можно войти? — спросил он.

— Конечно! — Ксана отошла от двери, юноша шагнул через порог.

— Я пришел извиниться, — сказал он хмуро и грубовато и помолчал. Ксана тоже молчала. — Я пришел извиниться, — повторил он. — Я не заметил, что там женщины. А мы на фронте привыкли так... Вы правы, конечно, и мне невольно перед вами. Но фронт — это не гостиня. Мы говорим по-солдатски.

— Не передо мной надо извиняться, — решительно ответила Ксана, — а перед всеми, кто вас слышал. Перед солдатами.

Комиссар постоял молча. Он был смущен и обижен.

— Вы не должны были делать мне замечание на площади, хотя и были правы.

— Если вы пришли, чтобы мне заявить, где и когда я могу делать замечания...

— Нет! — резко прервал ее комиссар. — Я пришел извиниться... Когда кончится война, — сказал он тише и спокойнее, — когда совсем кончится война и начнется мирная жизнь, все будет перестраиваться по-новому, по-большевистскому, и с этим грубым, грязным, что идет от старого, надо будет действительно покончить.

— Это уже сейчас надо делать, — прервала его Ксана. — А если оставить одно, другое, то так все и привыкнут к этому грязному. Так и останется все

и будет расти и расти...— Она отвечала ему, а еще больше была, мысленно продолжая спор с девушкой.— Человек не должен принижать себя,— как-то горестно, почти страдая, говорила она,— не должен ни в чем идти назад, наоборот, изо дня в день он должен хоть в чем-то возвыситься, вырастать. Я думаю, что так должно быть у нас. У красных... Неужели я ошиблась?

— Нет, не ошиблись!— горячо ответил юноша.— Мне дорого слышать такие слова. Вы даже не знаете, как дорого. Вы правы. Мы часто позволяем себе что-то, делаем себе уступки, думая, что потом исправимся. А ведь действительно неизвестно, поверстаем ли. Об этом мы еще должны с вами поговорить, хорошо? Не сердитесь больше на меня.

Ксана увидела умные, серьезные, но совсем мальчишеские глаза и несоразмерно тонкую шею между бурной и лицом и улыбнулась.

— Давайте познакомимся,— сказал юноша, чуть краснея и протягивая руку.— Шура Берман. Я очень сожалею, что все так вышло... Я видел вас в «Лесе». Вы ведь Аксиошу играли? Я не думал, что вы такая... молодая... Сколько вам лет?

— Шестнадцать. Пожалуйста, не считайте меня ребенком. Я много уже всего пережила. Я просто не могу думать иначе. Ведь мы сейчас воюем за самую хорошую жизнь, без всяких мерзостей, где все будет честно, справедливо... А если гадков будет оставаться, если мы не сумеем с ним справиться... Так за что же люди погибают?

Шура задумчиво покивал головой.

— Я хочу обязательно с вами об этом еще поговорить. Без спешки. Вы в партии?

— Нет.

— А надо!

— Не знаю,— медленно ответила Ксана и опять подумала о тайном ящичке мозга.— Я об этом не думала еще. Я не хотела бы отделиться от всех людей. Один, значит, худшие, а другие лучшие... Это разве хорошо? И вы думаете, что я тоже могу относиться к лучшим?... Мне это как-то непонятно. Это надо обдумать...

— Обдумайте,— сказал он строго.— Надо!.. Ну, а руку вы мне все-таки пожмете?

Ксана только сейчас заметила, что он стоит с протянутой рукой, и молча, с серьезным лицом подала ему свою.

— Я еще приду к вам. Ведь нам есть о чем поговорить,— сказал комиссар и, когда Ксана кивнула головой, вышел.

Она поглядела ему вслед в окно. Он распрямился, шел твердо и уверенно, хотя и был еще совсем совсем молодой, и почему-то Ксане опять казалось, что он смотрит далеко вперед и не замечает того, что находится вблизи.

ГЛАВА XII

ДОРОГА НАЗАД

На горизонте показались конный развед. Некоторое время всадники топтались на месте, стояли, наблюдали издали за обозом трупы. Потом быстро рассыпались полукольцом и стали приближаться, как будто собирались с ходу окружить маленький обоз.

Адоньев приказал остановить подводы и разоб-
рать винтовки.

Ровное поле лежало кругом — ни кустика, ни хаты.

Возницы-крестьяне, охая и ругаясь, суетливо выпрагали лошадей. Может быть, надеялись ускользнуть.

Толя Дмитриев пристроился за подводой с большим сундуком и оттуда стал прицеливаться.

— Команды не было! — закричал ему Адоньев.— Слушай меня!.. — И добавил: — Может, свои!

Артисты с винтовками в руках сбились в кучку, взглядывались...

— Чего ждем? Чего ждем? — вспыхнул Тарасов.— Скажут...

— Не поляки же сюда добрались, — нервно проговорил Крамской, беспокойно оглядываясь.

— Это не поляки, — с дальнего конца обоим крикнула Маруся. — Скворцов, где наш бинокль?

Скворцов, всегда умеющий держать себя в руках, подав и ней, что-то на ходу объяснял.

— Да маховцы, небось, — пробормотал Толя Дмитриев, недовольный, что ему не удалось издать снять метким выстрелом хоть одного подозрительного всадника.

Маж тем конниками приближались.

Они ехали неторопливо, сближаясь более тесным полукругом.

Вдруг, словно по команде, несколько человек вырвались вперед и поспекали, прижимаясь всем телом к конскому запрягу.

Свист пронесся по полю. В руках всадников зашумели сабли.

— Братцы... рубают, — жалобно протонал актер Непомнящий и на короточках пополз под телегу.

Действительно, казалось, еще несколько минут — и произойдет что-то ужасное.

Неловко перепрыгивая через сбившихся телеги, не выпуская из рук винтовки, бросился навстречу мчащимся конникам Адоньев.

— Стойте! Свои!

Но его опередила Надя. Быстрая и ловкая, она побегала вперед, широко раскинув руки, как будто собираясь плыть.

Только солдатские сапоги выдавали в ней фронтоннику. В этот теплый день она была в своей широкой синей шелковой юбочке и кофточке с украинской вышивкой.

— Свои же! — закричала она своим серебристым голосом. — Черти паршивые! Свои же!

Какая-то заманка произошла среди мчащихся конников.

На скаку они стали вдруг поворачивать коней, сдерживать их.

Было слышно, как ржут, вздымаясь на дыбы, кони, как бранятся отборной бранью, свистят и кричат верховые, отъезжая прочь.

Кто-то из них, удаляясь, сунул саблю в ножны, сорвал с плеча винтовку и, держа ее высоко одной рукой, выстрелил вверх, то ли не зная, куда деть свою силушку, то ли от злости, что произошел такой конфуз.

Сразу все зашумели, заговорили.

Опасность, сковавшая всех несколько времени назад, уже отошла.

Кавалеристы удалялись, исчезали за горизонтом, даже не подъехав поближе к трупам, не переговаривая с людьми.

— Кто это был? — еще не совсем придя в себя, спросила Ксана. — Буденновцы? Или из нашей дивизии?

Надя улыбнулась белыми губами, тряхнула головой.



— А кто их знает! — И вытерла руками испарину с висков.

— Запрягайте! Быстро! — скомандовал Адоньев и, не снимая винтовки с плеча, сам стал помогать возницам.

— Если б это были не наши, плохо б нам пришлось, — сказал он, обернувшись к Ксане. И, заметив стоявшего за ней Толоу Дмитриева, укоризненно бросил: — А ты, брат, не торопись другой раз. Все по одному разу живем.

Обоз двинулся.

Актер Непомнящий шел вместе со всеми и все рассказывал и рассказывал, как он увидел развед, что он подумал, как испугался сначала, но потом понял, что свон...

— Да будет тебе брехать, надоело... — негромко бросил ему Тола Дмитриев. Это были единственные слова, напоминавшие актеру Непомнящему, как он лез под телегу. Больше об этом никогда не говорил.

Адоньев торопил обоз.

— Давай погоняй! — говорил он головному вознице, вскакивая на его подводу. — Сам видишь, какая петрушка, надо торопиться.

В ближайшей деревне стояли войска. Дымилли походные кухни, в колодце бойцы поили лошадей, умывались, стирали портянки. Часть войск уже покидала деревню. Уходили торполова и тихо, не выстраивая колонной, а просто вольным потоком.

Маршрут труппы еще не был известен, ждали приказа. Измученных лошадей пришлось отпустить.

Ксана и Надя попали в хату, из которой только что выбыли красноармейцы.

Пожилый крестьянин с худым, усталым лицом сидел на лавке, согнувшись и опустив меж колен желтые жилистые руки с большими заскорузлыми кистями. Он мрачно, измученными глазами смотрел на входящих; видно, до смерти устал от каждодневных постояльцев, чего-то требующих, чувствующих себя в его хате дома в большей степени, нежели сам хозяин. Жена его на загнетке развелада маленький костер из щепок: варила картошку. Они хмуρο отвечали на вопросы, сами ничего не спрашивали.

Надя раздобыла в походной кухне каши с конопляным маслом, хлеба, она и Ксана сели за стол, пригласили хозяев, те невесело отказались:

— У вас самих мало. Картошка зараз сварится, будем есть. Молочка бы на стол поставить, да ведь беда какая — корову у нас взяли да зарезали.

— Кто зарезал? — поинтересовалась Ксана.

— Милые, да разве узнаете? Один приходит, другие. Да разве мы знаем кто, вот как и вы — Червона Армия, чи денкинские, чи батько какой. Много тут разных. И спросить не с кого. Зарезали та счили. Чи им солони наши слезы?

Крестьянин встал, с трудом разогнул спину, вышел из хаты.

— Что делать! — с сочувствием сказала Надя. — Скорей бы война кончалась. Да вот ведь еще шляхта польская на нас пошла.

В хату зашли Тарасов и Коля Поторгуев — тихий и молчаливый третий член «Зойкиной коммуны».

— Сейчас надо отправляться, — сообщил Коля. — Только лошадей нет.

— Здесь лошадей все попрятали, — сердито сказал Тарасов, — не дают, хоть ты что! У тебя, тетка, есть лошади! — спросил он хозяйку.

— Откуда? — ответила та с жалкой улыбкой, скорей похожей на гримасу боли.

— Вот так все. Откуда? Откуда? — передразнил он ее. — А нам ехать надо. Нам на пятки всякая белая сволочь наступает. — Он вышел, с силой хлопнув дверью.

Коля улыбнулся: дескать, что с ним поделаешь, прав, конечно, да кипит чересчур, — и тоже вышел. Громкие, раздраженные голоса, крики тотчас же разделись во дворе.

Ксана и Надя выбежали на крыльцо.

У сарая стоял Тарасов и пытался сорвать замок. — А говорил жнет лошади! — кричал он на хозяйку, который всем телом загоразивал сарай. — Говорил жнет лошади, а в сарае что?

— Товарищ, товарищ, — хватая за руки Тарасова, бормотал крестьянин, — да ее только вернули, триста верст гоняли, она ж морная, она дрожит вся. Пожалей, товарищ. У меня ж одна толка.

В руках Тарасова появился топор — это Коля Поторгуев нашел его во дворе, сунул Тарасову, — и тот стал им сбивать замок.

Крестьянин зарыдал и, упав на колени, хватал руки Тарасова.

— Убей меня, расстреляй меня, товарищ, не дам кобылки... Как жить будем без нее?

Надя столкнула Ксану с крыльца и, сильно держа ее за руку, побежала со двора.

— Идем, идем отсюда, — говорила она, — нам с тобой нельзя вмешиваться, это поручено Тарасову, он должен достать лошадей.

— Я не могу так, — возмутился и чуть не плача, сказала Ксана, — я так не могу. Пусты меня. Куда мы бежим?

Они остановились у стены длинного сарая. Глядя по голове Ксану, как маленькую, Надя убеждала ее, что иначе нельзя, крестьяне не дают лошадей, и труппа рискует остаться, попасть в плен.

— Но это несправедливо, — твердила Ксана, — загнанную лошадь надо оставить... И я не могу. Старик плакал, стоял на коленях...

Надя обняла Ксану и повела ее по улице, в одну сторону, в другую, и все говорила и убеждала:

— Понимаешь, в жизни много несправедливого, и как без него обойтись, не знаю. А ты хочешь, чтоб все сразу изменилось. И люди. И тот же Тарасов. Он честный, но он не верит этому крестьянину. И знаешь, он более опытный, чем мы с тобой...

Они медленно подошли к дому, когда увидели Адоньева и Тарасова.

— Торопитесь! — сказал Адоньев. — Сейчас выезжаем.

— А в ваши вещички сложил на подводу, — улыбаясь, бросил на ходу Тарасов и, делая вид, что не понимает, из-за чего расстроена Ксана, шутиливо пролеп, широко раскрывшая свой большой рот с крепкими белыми зубами:



Что вы головы повесили, сыночки мои...

— А где подводы? — спросила Надя.

— Возле Скворцовых. Второй дом от колодца, — все ли я сложил, не забыл ли чего. — Он махнул рукой и зашагал дальше.

Надя забежала во двор и тут же вернулась.

— Иди скорей, посмотри, сарай на замке. По моему, там лошадь стоит.

— Да? — удивилась Ксана и, глядя блестящими глазами на Надю, молча крепко пожала ей обе руки.

ГЛАВА XIII

НОЧНОЙ ШЕПОТ

Ты не спишь, Ксана?

— Нет. Очень душно.

— Хорошо бы выйти на воздух, да не переберешься. Битком набито. Ногу негде поставить.

Ксана и Надя остановились в этой маленькой хатке вечером, когда других постояльцев здесь еще не

было. Они улеглись спать на чисто выбеленной печи, в этот день непопленной: на дворе уже чувствовалась весенняя пора.

Было темно, когда в горницу завалились красноармейцы. Они на ходу сбрасывали вещевые мешки, садились на пол, ставили меж колен винтовки и тут же засыпали. Некоторые еще возлились, снимали сапоги и клали их под головы, примачиваясь на полу. Спали аловалку, уткнувшись лицами, не разбирая, в спину или в колени соседа.

Сразу стало душно. Кто-то еще дымил махоркой. В спертom воздухе люди кашляли, храпели, ворочались, бормотали не то спросонок, не то не могли заснуть.

— Надя! Спишь? Тебе отсюда видно окошечко? Костер развели на улице.

— Дежурят, наверное... А ты не крутись, спи.

— Не могу заснуть.

Сипловатый тенор в углу что-то тихонько монотонно рассказывает товарищу.

Неожиданно раздается неистовый, но ясный, членораздельный крик спящего человека.

— Бра-а-цы! Ка-ба-со-рро-ва-ва-ва-ва,— и дальше неясное бормотание.



В ответ кто-то тоненько, заливаясь смехом. А хриплый бас сердится:

— Вот дьявол!

— Надя, ты спишь?

— Ну?

— Слушай, я знаю, о чем думаю...

— Ну?

— Надо подавать в партию.

— Конечно. Тебе обязательно надо подавать.

— Значит, я раньше просто не думала об этом. А теперь понимаю: кто всей душой за красных, должен идти в партию. Я как вспомню Курск и этот ужас — отец в тюрьме, расстрелы, денкиницы с платками, и эта виселица — нет, нет! Этого больше не должно быть!

— Не всех берут в партию, Ксана, только лучших людей. А тебе сам комиссар дивизии сказал.

— Кто? Шура? Ну да, он сказал. И Адоньев не раз говорил... Но знаешь, Надюша, мне как-то неприятно, что вроде я себя считаю лучшей. И вообще-то я думаю, это так и идеал, что всех лучших берут. А веролю, на самом деле всякие в партию вступают. И недобрые... И хитрые... А еще, может быть, и какие-нибудь честолюбивые. Или корыстные.

— Ну и что ж! Не святые же люди. Но зато входят в партию и берут на себя ответственность. И готовы жизнь отдать за победу. И на них все надеются, верят им.

— О себе я сама-то знаю твердо. В партии я или нет, я всегда буду поступать как нужно. Потому что я душой коммунистка. Понимаешь? Я, правда, несдержанная, могу сгоряча что-нибудь, необдуманно... И еще, я знаю, я упряма. Мама всегда говорила... Но знаешь, Надя, самое важное, по-моему, сейчас другое. Положение тяжелое. Я уверена, что скоро мы опять будем наступать, но пока... Вот сейчас и должны идти в партию те, кто всей душой с красными...

...Темная ночь. Только отсвет костра желтеет в маленьком окне. За стеной в сарае пропел петух. Решил, наверно, что уже утро. А тенор все рассказывает, все жалуются...

— Ну, браток, приезжаю я в село под вечер, в родимый дом не иду, ночи выкидаю, сижу в овраге. Замерз, думал, богу душу отдаю. Задами прошел к дяде Степану, кузнец он, свойственник мне. Обогрелся. Самогону выпил. Похрабрел. «Ну, спрашиваю, — дядя Степан, скажи мне по совести, как оно тут было, как моя жена любимая с белыми спала, как она с колокольцами по селу разбегалась, как пласала под гармонь по славу и в честь балопогонников, что моего родного брата, Петра Семеновича, шамопалами били!» Сам спрашиваю и сам плачу. И сам это глужев письмо в кармане тербюлю, чтоб сердце мое не оставало... И скажи, браток, как человек устроен. Вот уж все я знаю, а маленькое еще теплится во мне ну самая кроха надежды — может, по злобе братец мой, Петр Семенович, описал...

Не видно во тьме, только слышно, поднялся кто-то с пола, шубершит, дышит тяжело, летит через спящих. Дверь в сени открыл, и сразу чистым воздухом поваяло. Загрело ведро, плеснула вода — и вот уже кто-то пьет, пьет, громко глотает студеную свежую воду. Шумно, задевая спящих, летит назад на свое место. Люди сердятся, кричат, стонут. Опять тишина. Только монотонно рассказывает сипловатый тенор свою историю безмолвному собеседнику.

Да шепчутся на печи два женских голоса.

— Я не знаю, где сейчас Николай. Но мне кажется, что он тоже уже в партии. Ты не представляешь, Надя, он такой честный и очень умный... Я таких больше не встречала, хоть все наши мальчики были тоже очень хорошие, благородные.

— Ксана, он... твой жених?

— Жених? Нет! Какое слово глупое. Почему жених? Я не думала об этом. Он мне когда-то написал, что любит меня. Нет, это гораздо больше, что он написал. Он как-то всю свою жизнь раскрыл и свое будущее, и все это он просто мне отдал. Я не знаю, понятно это тебе, Надя? Я так смеялась тогда, ну просто до истерик. Это, знаешь, первый раз мне сказали, что любят меня. И еще от неожиданности. Потом мы с ним говорили. Сначала я не хотела говорить. Но он так меня искал и ждал! Я его душой как-то поняла. И я уже считал, что навсегда будет около меня. И я тоже так считала. Он любит меня. Ну, не просто как-то; не то, что я ему нравлюсь, а больше, гораздо больше. Я это знаю, но не могу объяснить. Я только могу сказать тебе, он для меня много значит... Так много! Я теперь не представляю себя отдельно от него... Ты не спишь, Надя? Мне так хорошо, что он есть. И не то, что я о нем думаю. А просто он всегда со мною, около меня.

— Ты очень счастливая, Ксана... Мне даже завидно стало.

— Я? Ну что ты! Чем я счастливая?.. А знаешь, у меня был еще один человек. Борис. Не знаю, что это. Я когда вспомню о нем, ну... Он меня как-то пугал, я боялась его. Он мне очень нравился. Как-то жутко нравился. Просто не могу объяснить. Нет, не любила я его нисколько, а вот думала о нем; встречу — и почему-то сердце замерет.

— Да? А может, это и есть любовь? Или это страсть, Ксана?.. Нет, ты люби Николая...

— Конечно. Этот Борис, он уже для меня кончен. Он к белым ушел. Я даже думать не желаю о нем... А Николай мне самый дорогой. Вспомню его, и так на душе у меня тепло! Где он? Что с ним? Вот он жизни не пожалев, это да! Это человек!.. На него всегда можно надеяться. И верить ему можно. Если бы в партию шли вот такие люди...

Уже заголубело окошко. Погас, наверно, костер, не видать отсветов огня. Спят усталые люди. И не спят усталые люди. Надо кому-то поверить свои думы, свои печали.

— И что же, думаю, делать мне, браток ты мой? Руки ломаю и не найду выхода. И е-то, жену мою милую, ненавижу люто и жалею ее, потому что нет ее вины в том, что с ней сделали, окаяные. И любить ее больше не могу. Как представлю себе, что она, беззащитная, вытерпела, когда над ней эта банда измывалась, да как жизни чуть не лишила, аж дрожу весь. И о брате своем, Петре Семеновиче, не могу вспомнить без злости, встретить его боюсь, потому что убью, как сунного сына. За что он ее передо мною в прах растоптал! Вся деревня знает горе ее и стыд ее, моей невинной голубочки. И я все это знаю, а себя не переломлю. Пошел я к ней. Не знаю, зачем пошел. Ничего ведь не вернеше, мне только голову сложить за святое дело, больше мне ничего не надо...

— Надюша, а я думала, мы вместе...

— Ты меня не суди, Ксана, я старше тебя, вся жизнь моя совсем другая. Я легкость люблю, веселье, я просто хочу жить, не задумываясь над всякими вопросами. Ты же знаешь, я люблю пить, пла-



сать, я люблю шумную компанию, я люблю, чтоб вокруг меня были мужичины... Но ты не думай, Ксана, что мне все равно, какая власть, нет! Я целиком с красными. Я и на фронт поэтому пошла. Муж мой, ты знаешь, он чекист, хороший, любит меня, занят очень, работает много. Он пишет мне: «Приезжай, мне трудно и скучно без тебя». И я, наверно, уеду скоро, мне без него тоже скучно, и отдохнуть хочется, просто пожить без забот. Я тебя очень люблю, Ксана, наверно, дочку я так бы любила, если б она у меня была. Ты как-то чисто и честно думаешь. Живешь так строго, хорошо. Я радуюсь, глядя на тебя, но сама я другая, не осуждай меня. Ну какой я член партии? Вот сделать что-нибудь трудное не побоюсь, это я могу, на передовые поехать, провести какую-нибудь работу, ты же знаешь, мы всегда с тобой беремся за все. Но зачем мне в партию? Да я долго ничего вынести не могу. Я вот скоро сбегу отсюда к мужу. Я легкомысленная. Ты-ш! Не смейся так громко. Ну, тихо, Ксана, слышишь? Вот! А ты иди своей дорогой. Вступай в партию. Только об одном еще помни. Ты артистка. В тебе есть тот огонь, который нужен искусству. Это ты не оставляй никогда...

— ...Встала она, смотрит на меня прямо и смело, гордая, виня за собой не знает. «Вот,— говорит,— Василий, пусть люди тебе скажут, что здесь было. Хочешь, оставаясь со мной, я приму тебя, я жена твоя. Не хочешь — не мучь себя. Обиды на тебя не буду иметь, уходи». Ни слезы не пролила. «Высохла,— говорит,— мои слезы». И что же ты думаешь, браток! Она стоит, как каменная. А я плачу. И она-то, не я, а она от меня отворачивается. Гордая, не дай бог.

И ушел я. Вот, браток. Без вины виноваты мы с ней оба. Шел я оврагом, снег мне в лицо лепил, а я только молил, чтоб меня этим снегом замело набок. Потому что нет мне житья без нее. И деваться мне некуда. Только смерти иду. А вы дурбм говорите: «Эх, Васька Сокол, да Васька Сокол, отчаюга, геройский парень, ему море по коленям». А мне горе по коленям, горе по грудь...

Громко хлопает входная дверь, с ветерком врывается запах коров, молока. Рассветает.

— Эй, давай, подымайся! — говорит пожилой солдат с круглой бородой и стучит прикладом ружья об пол.

Затих шепот на полу и на печи. Люди шевелятся, потягиваются, подымаются, разные люди, с разными думами, разными жизнями.

Сейчас они встанут и пойдут одной дорогой, все похожие друг на друга.

ГЛАВА XIV

КАК СЛЕЗА...

Ксана писала стихи. Несколько строк вышло сразу, а дальше никак не укладывались слова, которые надо было обязательно вставить в одну строку.

Она сидела на подоконнике и смотрела вниз в темный, необрунный двор, где лежала куча угольной крошки — остатки топлива.

В этой узкой комнате на третьем этаже по Малой Васильковской, где ее поселили с Надей, было беспринято и тоскливо. Стихи не писались, когда бывало так тоскливо.

В комнате стояла железная кровать, непокрытый стол и один стул. Это все, что могли выделить хозяева квартиры двум артистам. Правда, из реквизита трупы они получили ковер, который вполне заменял матрац, а роскошное голубое одеяло Нади сразу делало комнату веселее.

Хозяйка квартиры заперлась на замок. На стук неожиданных гостей — девушек в шинелях — приоткрылась дверь. За портьерами виднелась столовая с височной лампой и звонком над столом, с кружевными салфетками на высокой спинке дивана, с тяжелым старинным буфетом. Из-за портьеры показалось испуганное лицо женщины, она что-то торопливо жевала, рука ее придерживала дверь.

— Нет, чаю вскипятить не на чем. Нет керосину. Нет, чайника свободного нет. Только один, нужен самими. Нет, воды нет, не доходит до третьего этажа, надо идти в подвал.

Артистки извинились вежливо и сухо. Дверь закрылась, щелкнул замок.

Киевляне жили своей собственной жизнью, отдельно от армии, которая заполнила все улицы, светилась у пристани. На Крещатике в маленьких кафе еще наслег закусывали люди, а хозяйка уже спускала жалюзи, готовилась закрыть двери; возле университета стояли и чего-то ждали группы молодежи, хозяйки торопились куда-то с сумками. Горюжане были озабочены, неприветливы. Может быть, потому, что армия отступала.

Труппа получила приказ идти в Дарницу. Адоньев и Свиорцов ходили от одной военной части к другой, выпрашивали подводы для своей труппы. Им едва удалось отбить где-то две подводы.

Надя вошла в комнату и сказала: — Ты не слышишь? Бомбы бросают. Аэропланы налетели. Надо сложиться, уезжать.

Ксане пришлось прервать стихи как раз в то время, когда слова так хорошо начали строиться в строке, ей не удалось даже записать их. Она спрятала книжку и карандаш в карман шинели и потащила вниз вещи.

Мост был взорван. На берегу Днепра стояла кулярня. В поисках проезда возчики гоняли нагруженные подводы с одной улицы на другую. Они опасались, что белополяки войдут в город и их задержат, не позволят вернуться в свои села.

Артисты покорно бежали за подводами, то отставая, то обгоняя их. Спрашивали встречных о делах на фронте. К артистам присоединялись полупитчики — бойцы, отставшие от своих частей, потом они рассезивались, уходили вперед.

Присаживали на лошадей несколько курсантов дивизионной школы с Суржаком.

Маруся покричала им вслед, Суржак придерживал лошадей, артисты окружили его.

— Прорвались паны, — сказал он своим хриплым голосом, гарцуя на вспотевшей лошади.

Свиорцов придвинулся к нему ближе, торопясь, спрашивал подробности: где, когда, как случилось.

Рубя слова, прощивая их, — как бы не осрамиться перед артистами, — Суржак наслег рассказал, как горстка бойцов с командиром долго обороняла важный участок, части успели перегруппироваться, так что потери не так уж велики.

— А те? Бойцы? И командир? — волнуясь, спросила Ксана.

Квадратное, все в шрамах, лицо Суржака странно сморщилось.

— Храбро бились. Как черти. Не жалели себя.

— Ну и что? — нетерпеливо спросила Ксана.

— Ну, задержали, — ответил ей вместо Суржака Свиорцов.

— А командир? Жив? — настойчиво спрашивала Ксана, сцепившись рукой в край седла, чтоб не дать уехать Суржаку.

— Никого не осталось, — рубанул он.

— Я знаю, — с дрожью в голосе сказала Ксана. — Я знаю. Это Моисеев.

В ее памяти мгновенно возникло черное поле, по которому шагал конь, ночь, пустота.

— Моисеев, — повторила она еще раз, громко и внятно, как бы желая утвердить это имя.

Но ее никто не слышал. Суржак отъехал и удалялся на глазах. Подводы давно промчались, и артисты побежали догонять их.

Испытывая горечь от того, что людям некогда остановиться мыслям на подвиге командира и его воинов, некогда почтить память тех, кто принес высокую жертву во имя великого товарищества, Ксана и сама побежала за всеми, страдая от этого еще больше, задыхаясь и торопясь.

Приехали в Дарницу. Артисты спешили найти приют и разбрелись по домам. Уже вечерело.

...На небольшой площади, у сторонке, у канавы, горел костер. Вокруг сидели солдаты, что-то хлébали из котелков. Некоторые спали на земле, повернувшись спинами к костру. Неподдалеку стояла холодная солдатская кухня. Под ней прикурнул, с головой закутавшись в шинель, повар.

Все здесь показалось Ксане естественным, простым, добрым: уютно трещал костер, и ей захотелось посидеть у этого костра, послушать чужую беседу, побыть с людьми, которые не сегодня-завтра тоже пойдут в бой.

Она подошла ближе, солдаты подвинулись.

— Есть курить, хлопчик? — спросил ее совсем молодой боец, протянувший босие ноги к самому костру.

Ксана дала ему кيسет с махоркой, присела рядом на корточки.

По другую сторону костра молодой голос негромко пел каким-то особым способом; это напоминало тирольскую песню, хотя слова были русские, народные. Лица его не было видно за дымом.

— Кружка есть? — спросил Ксану пожилой солдат, который все время занимался костром, подкладывая щепу, мешал, ворочал, поправлял ведро с кипятком, висевшее над костром.

— Нет, — ответила Ксана.

— Ни мою. Кипяточку хошь?

Он щедрым жестом протянул ей жестяную кружку, словно был хозяином этого костра и принимал гостей.

— Спасибо. Я не хочу.

— Что спасибо? — ворочал пожилой солдат. — Попил чаю, тогда и сказал спасибо, а это одни пустые слова.

Все в этом солдате было какое-то добротное, хозяйское. Он сразу вовлекал каждого. Подходящего к костру в единое товарищество, и каждый мог получить все то, чем здесь располагали: кружку кипятку, «козью ножку», доброе слово, место у костра; и каждый мог отдать сидящим здесь людям то, чем располагал сам: кусок хлеба, соль, песню, острое слово, шутку.

Ксана молча сидела среди незнакомых людей, прижавших ее за хлопчика, и слушала их любасени, их

вспыхивающий и потухающий разговор, и на душе у нее становилось спокойнее, словно она попала в самый центр жизни, где все мысли, и желания, и чувства настоящие, ясные. Особенно хорошо было то, что никто ее ни о чем не спрашивал; можно было молчать, или говорить, или петь, или спать,— что человек хотел.

Ксана сидела, обняв колени и уткнув в них лицо. Ей хотелось так сидеть без конца и под говор незнакомых людей думать о своем. Перед ней пропывал весь день с утра, Киев, этот узкий двор с углем, аэропланы, потом бег, долгий бег за подводами. И за всем этим — скорбная, неплакannая смерть юного и чем-то близкого человека.

Возникали в памяти, кружились и исчезали непонятные строчки еще не сложившихся стихов:

...И кому было дело — хорошо ли, худо ль,
Ели спящие солдаты затннут хлысты.
Если бомбой рванулась стеновая ураль
Из музических заросших глаз.
Если кровью и мозгом забрызганы стены,
Если фронту не стало границ.
Если жизнь человека утратила цену,
Как слеза, что упала с ресниц...

К ночи кое-как погрузились в одну из теплушек длинного воинского состава.

— Отступают... — Об этом все только и говорили, озабоченно, сдержанно, и каждый утешал себя и других: — Это временно. Это только на небольшом участке.

Все уже забыли, как еще совсем недавно фронт так и двигался: то наступали, то отступали. Но в последнее время дела шли очень хорошо, и казалось, что теперь так и будет всегда.

Никто ничего толком не знал, строили догадки, передавали слухи: белополякам помогают англичане, французы. Потому и прорвали фронт.

Высокий, пожилой и очень худой подвонец Чурюканов с длинными усами и хитроватыми, острыми глазами ходил от вагона к вагону и говорил людям что-то утешительное насчет боев.

Шла ночь. Поезд двинулся. Вдалеке бухали орудия. В стороне фронта по небу расплылось зарево, что-то горело.

В соседних теплушках ехали штабы, подвие.

Постепенно все улеглись спать.

Раннее утро было необыкновенно красивым. На ясном, очень чистом небе висело ослепительно желтое солнце. Оно разливало мягкое тепло, весна была в разгаре. Весь воздух струился, дрожал, в недалеком хвойном леске отчетливо были видны на темных ветках светло-зеленые длинные побеги. На небольшом лугу у самого поезда блестела молодая трава, усыпанная желтыми цветками одуванчиков.

Поезд стоял в Броварцах.

Люди вышли на лужок, жмурились на солнце, рассматривали на краю неглубокой канавки, отделяющей луг от железной дороги. То тут, то там неяркими, расплывающимися в утреннем свете огоньком загорелись костры.

Около Нади, выжившей на луг, толпились штабисты. Они, как всегда, шутили, острили, хотели нравиться Наде.

Ксана села на краю овражка, где четверо немолдых военных, скорее всего политотделцы, устроили небольшой костерок и над ним на несложном сооружении подвасили чайник. Они пригласили и Ксану, и она уже ополаскивала их кружки и принесла из вагона ржаные сухари, которые Нада два дня назад подсушила в деревенской печке. Политотделцы говорили о людях, присоединившихся к Красной Армии в Киеве, — среди них были меньшевики и бун-

довцы, вспоминали эпизоды из истории отношений большевиков с меньшевиками. Ксана с интересом слушала, стараясь все понять, расспрашивала, и политотделцы с доверием и расположением объясняли ей все толково и поучительно, как старшие объясняют детям.

Внезапно в небе низко-низко закружилось несколько аэропланов. На лугу взлетели фонтаны земли. Люди побежали, одни к лесу, другие назад, к вагонам. Где-то закричали тонким и визгливым голосом.

Дуся Новаковская и Клава Понсет, стоя в дверях вагона, громко звали Ксану.

Ксана вскочила, немного отошла от костра и, прислонясь к дереву, что росло неподалеку, стала смотреть вверх. Аэропланы летали неторопливо, низко, ей даже показалось, что она видит лицо летчика.

У вагонов, став на одно колесо, целился из винтовки в аэроплан Толя Дмитриев. Он стрелял и стрелял и щелкал затвором, только падали гильзы. То же самое стали делать еще несколько человек.

Надя, была красная и потная, с кем-то из штабистов волокла с пуга раненого.

Аэроплан летел над самым поездом; неподалеку разорвались бомбы.

Что-то грохнуло и с силой ударило Ксану в грудь. Она на секунду задохнулась, а когда глянула вокруг, не узнала места. Там, где был костер и возле него сидели люди, она увидела взрытую груды земли, она словно еще шевелилась, будто люди пытались выбраться из-под нее. Ксана увидела заспанное землей почерневшее лицо человека, который только что объяснял ей, кто такие бундовцы. На этом угольном лице открылись и закрывались совершенно белые глаза. Рядом из опрокинутого чайника текла вода. Ксана быстро наклонилась, поймала чайник, налива воды на руку и плеснула на это черное лицо. Но только сейчас она увидела, что тела нет, на взрытой земле лежала одна голова. Ксана отшатнулась и торопливо стала искать остальных людей, только несколько минут назад сидевших здесь, рядом с ней. Но среди грязи и взрытой земли валялись лишь кроваво-черные куски тел. Она металась с чайником в руках, боясь наступить на живое, еще надеясь, что кто-нибудь уцелел, только заспан землей.

По лугу ползли раненые.

Стоя в двери вагона, Дуся истерическим голосом непрерывно звала Ксану, но в ответ Ксана гневно и требовательно закричала:

— Где саниты? Где санитары! Пришлите их сюда скорей! Здесь раненые, здесь умирают люди! Вагон с красным крестом был наглухо закрыт.

Ксана бросилась к нему, ужасаясь, что там могут сидеть, закрывшись, люди, обязанные заботиться о раненых. Она стучала кулаками в дверь теплушки, выкрикивая совершенно непривычные для нее ругательства:

— Мерзавцы! Трусы! Сволочи! Откройте сейчас же! Дайте бинты, йод! Подлые трусы! Можете там сидеть, выбросьте нам бинты!

Подбежал Тарасов, отстранил Ксану от вагона и стал стучать сам своими мощными кулаками.

Дверь вдруг отодвинулась, два испуганных санитаров выскочили с носилками и, не замечая ближних раненых, ошалело бросились на луг.

Аэропланы улетели. Состав был цел, но раненых оказалось много. Постепенно их разместили по вагонам, кое-как перевязали. Подобрали убитых, снесли и сложили их в одном месте на лугу.

Чурюканов созвал мужчин рыть могилу и сам, вооружившись лопатой, энергично копал, на его устах дрожали капли не то пота, не то слез.

МИРА

Маруся, Надя и еще несколько человек пошли в лес намотать еловых веток.

Дуся и Клава не пустили с ними Ксану. Они заставили ее переодеться, она была вся в крови и в земле. Очевидно, бомба упала прямо в костер, вокруг которого сидели четверо пожилых людей. Ксана еще не успела узнать их имена. Землею, смешанной с кровью ее новых товарищей, ударило Ксану в грудь. И сейчас еще она чувствовала боль, но как это было ничтожно перед тем грозным и страшным, что свершалось у нее на глазах. Она переоделась и сидела в дверях теплушки, спустилась вниз ноги. Со всем близко люди молча копали большую яму. По вагонам шли переклички — считали людей.

Ксана посмотрела на сваленные в кучу останки, — совсем недавно это были живые люди, — и внезапно ей захотелось спать. Она сделала попытку подняться, чтобы подойти к нарам и там лечь, но не смогла и стала неудобно валиться на спину. Товарищи подняли ее и перенесли. Им казалось, что она потеряла сознание, нет, она дышала слабо, но ровно и спокойно. Она спала.

Убитых сложили в братскую могилу, покрыли кумачом и засыпали землей. Почти весь эшелон собрался у невысокого холма. Холм убрал еловыми ветками, их связали красными бантами.

Ксана проснулась, вышла из теплушки. Сон длился всего несколько минут, но непреодолимая слабость уже миновала.

Все так же сияло солнце, так же необыкновенно прозрачно был прозрачен воздух, но это уже никого не радовало: здесь прошла смерть.

Пели «Вы жертвою пали», Торопились. Наконец, был дан сигнал к отправлению поезда.

Кто-то начал писать химическим карандашом на кумаче фамилии лежащих в братской могиле, но еще не успели установить всех убитых, — человек бросил писать, свернул кумач и сунул его под еловые ветки.

Поезд медленно отходил. Колеса стучали все быстрее. Паровозный дым плыл над полями, и вместе с ним плыла печальная песня.

Ксана стояла у открытой двери и смотрела на убегающую землю, на деревья, на столбики с цифрами.

За ее спиной разговаривали люди: в вагон трупы — последний в составе — набилось много военных, они вскакивали на ходу, когда поезд уже пошел. Сквозь шум колес до Ксаны долетали отдельные слова, фразы:

- Это ненадолго...
- Дальше Киева не отступим, черт его батьке...
- Сейчас подымется вся петлюровщина...
- Не забывайте, товарищи, не забывайте, что наша Краснознаменная...
- Командование должно было учесть...
- О-о! Наш комиссар подкованный, убежденный.

И воевать умеет. Парень орден Красного Знамени получил...

Ксана не вслушивалась. Но случайно долетавшие фразы говорили ей о многом. «Наша Краснознаменная»... — подумала она с гордостью. И комиссар тоже имеет орден. Шура. Это о нем сказали «убежденный». Да, конечно, отступление ненадолго. Ненадолго, черт его батьке!

Ее мысли прервала Надя. Она крикнула из глубины теплушки:

— Ксана, я совсем забыла отдать тебе письмо. Вчера пришло. Узвзала его в тюх и забыла, сейчас только увидела.

Большая скала сердце Ксаны. Как долго она ничего не знала о своих — о матери, об отце — выдворен ли? — о сестрах, братишке — какие синие руки были у него в минуту прощания! Как голодают, наверно,

все они! Ксана боялась думать и о Мире — тоже близкой, как сестры, и даже еще более родной по общим мечтам, увлечениям. Она отгнала от себя всякие воспоминания, они несли с собой чувство вины и тревоги.

И сейчас, забравшись поглубже на нары, она с бьющимся сердцем распечатала большой мятый конверт, надписанный тоненьким почерком Миря.

«М

илея моя Ксана!

Ни одного письма от тебя. Узнала у твоих адрес и пишу. Жива ли ты? Где ты? Если бы ты знала, как здесь пусто сейчас, как не хватает тебя.

Буду писать все по порядку. Родная моя Ксана! Ничего больше здесь нет. Все поразьехались. Мальчишки либо на фронте, либо бросили школу и где-то работают, — некоторые на железной дороге. Ты не поверишь даже — Алексей Кудряшев, помнишь, он сидел на последней парте, такой воспитанный, высокий дылда. Мы еще его однажды встретили на Московской, помнишь, он курил. Так он сейчас работает в пожарной команде. Представляешь? А Борис, знаешь ли ты это? Борис ушел с денщиками.

Девчонки тоже осталось немного. Помнишь Желку Станиславскую, она не стала кончать гимназию — ой, я все по-прежнему говорю гимназия! — работает в каком-то детском уголке, туда люди приводят на дню детей, она играет им на рояле, учит петь, сочиняет сказки и рассказывает им. А сестры Дядины! Они бросили учиться, не знаю, что делают, магазин у них реквизировали. Маша Мизрох уехала в Двинск, там у них родственники.

Только Павел Корольков, как и раньше, ходит один, шинель внакидку, этаким принц, страшно гордый и таинственный. Говорят, он работает в ЧК.

Я живу как будто в каком-то другом городе. Ну ничего, ничего из друзей. Школу я кончать не стала. Мама и тетка ругали меня так, что хоть занемая уши. А теперь я поступила работать в канцелярию совнархоза. Очень тяжело дома, голодно, надо помогать. И мои смирились.

В городе все потихоньку устранивается, поставляли стекла, невозможно кое-где починили разрушенные дома. В клубе Ленина сейчас какое-то учреждение. Прохожу мимо и всегда вспоминаю, как ты здесь выступала, а после школы я ходила с тобой вместе, и моя жизнь тоже была наполнена, хоть я и не участвовала в кружке.

Ксана моя дорогая, как это было, что вокруг нас все кипело? Помнишь, когда открыли Дом юношества, ты готовила какой-то реферат — правда, так и не выступила, — там всегда собирались самые интересные ученики не только из нашей гимназии и все-таки о чем-то спорили, шумели. Я помню, как ты убедительно доказывала мне, что религия должна отмирать, а я тогда не соглашалась с тобой. Я тогда еще ходила в церковь, как все в нашей семье. А теперь я тоже уже не хожу. Ксана, и ты бы породовалась, потому что я не просто не хожу, а по убеждению.

Когда ты вернешься — только вернись же, Ксана, ведь не могут же тебя убить на фронте, вернись, вернись, вернись обязательно, — я тебе все расска-

жу, как это происходило во мне, как я душою ушла от этого, хоть дома меня пилили знаешь-ка!

Но чем мне жить сейчас, Ксаночка, я и сама не знаю. У меня никаких талантов нет, и надо делать что-то значительное для всех, а как? Вот ты нашла себя — у тебя театр, сцена, теперь фронт, ты текла смелая, взяла и поехала воевать. Я ни за что бы не поехала, я боюсь до ужаса, когда стреляют. Я много читаю и живу все в себе, да с кем мне делиться? На службе люди какие-то занятые, у них семьи. Но не в этом дело, просто они скучные, говорят больше о еде и вообще о внешнем. Правда, у нас очень голодно сейчас. Только и удовольствия, когда мы на службе затопим железную печурку и печем в ней картошку, все, даже заведующий. Тогда немножко поразвеселимся и начинаем рассказывать о чем-нибудь друг другу. Но все же как это убого и мелко по сравнению с тем, как мы жили.

Я хочу в наш «Общественный сад». Ксана, дорогая, неужели уже не будет таких вечеров? Помнишь, в саду играл оркестр и всегда так пахло матиолой, и нас уже ждали мальчишки. Мы вместе слушали музыку.

А помнишь, как мы вдвоем ходили к театру, и сидели там на скамеечке у артистического входа — у нас не было денег на билеты, — и слушали «Евгения Онегина», и «Русалку», и «Пиковую даму», и «Садко». Как мы плакали над «Евгением Онегиным», и обе стеснялись и скрывали друг от друга слезы. Почему эта опера была нам такой близкой, так трогала сердце? Представь, я и теперь не могу слушать ее, плачу. Моя сестрица Калерия взяла меня в театр — к нам приезжала опера — и ругала меня ужасно, что я несдержанная и чувствительная.

Ксана, дорогая, я так хочу, чтоб ты приехала, я совсем одна, и мне слова сказать не с кем. Я пишу тебе и глупо реву над этими листками из тетрадки. Хорошо, что Калерия не видит. Ну приезжай же, приезжай поскорей. Я так боюсь за тебя, что ты на фронте, я боюсь и очень уважаю тебя.

А помнишь, как глупые девочки в классе посмеивались над нашим увлечением театром! И над нашими мальчишками. А они были верные и преданные! Что с ними там, на фронте? Где они?

Мы с тобой тоже не всегда ценили их и часто были несправедливыми к ним. Особенно ты, Ксанка, это точно, ты уж не сердись.

Помнишь, по утрам делили хлеб в школе — это поручили твоему Николаю, как самому справедливому, — и наши Николай старались незаметно отрезать от своих порций и добавить нам. А ведь у них дома тоже было очень плохо с хлебом. А еще, как они ушли утром на Сейм, и был проливной дождь, а они так легко одеты, в тонких рубашках, и вечером прибежали и к тебе, и ко мне, мокрые, холодные, но принесли немного рыбы и поделились с нами, и даже нам дали больше. А у них-то дома было не лучше, чем у нас.

Нет, мне кажется, что нам с тобой, Ксана, как-то особенно повезло на таких верных, умных друзей, с которыми было интересно и хорошо. И все те мальчишки, которые к нам присоединились, тоже были интересные и какие-то не банальные — Толя, и ушастик Миша, и Юра.

Я никогда не забуду, как мы собирались над открытием в саду, где электростанция, — помнишь нашу тоненькую сказмечку? Мы читали стихи, вернее, ты и Сережа-поэт, я забыла его фамилию. И еще ты читала монологи из пьес. И мы говорили об убеждениях и о трех категориях людей, и в эту лучшую, третью категорию мы записали только пять человек. Мне это совсем не смешно сейчас, а прекрасно, и так светло на душе, когда я это вспоминаю.

А один раз Андрей Коршун рассказывал нам, какие есть партии; он прочитал много брошюр о разных партиях, и мы долго разговаривали и спорили, и все согласились потом, что самая честная партия — это большевики.

Ксана, моя дорогая, вернись, только вернись! Я без тебя как-то потерялась. Но я верю, что ты приедешь и опять будет все кипеть, все соберутся вокруг нас, и жизнь будет идти не случайная, а настоящая.

Уже пора кончать мое письмо, но я никак не могу оторваться и еще хочу поговорить о том, о чем ни с кем больше не могу.

Я хочу напомнить тебе один вечер. Мы с тобой пошли после уроков в коридор нижнего этажа и вдвоем танцевали, потому что тебе не давалась мажурка, а предстоял вечер в гимназии, и мы хотели подучиться. Мы здорово тогда напрактиковались. А потом сели на окно и разговаривали. Во дворе было уныло, осень, сильный ветер, и летали листья. Прошел мимо окна Павел в своей шинели ванидку, и ты мне сказала, что тебе он очень нравится. И ты это повторила потом, когда нас разыскал Николай, при нем повторила, и я разозлился на тебя ужасно, зачем ты это сделала. Мне было жаль его, нет, не жаль, я оскорбился за него, я чуть не заплакала, как ты могла это? Слушай, я не боюсь сказать эти возвышенные слова, над которыми ты когда-то так долго смеялась, но если есть на земле любовь, то она тебе любил.

Дорогая моя! Я знаю, ты скажешь, что и меня любил мой Коля Шумский; как нам повезло: наши дорогие — два друга и оба Николаи! Но нет, Ксаночка, милая! Мой Николай — очень хороший мальчик, он отнесился ко мне так бережно, как к младшей сестре, но я понимаю — он хотел подражать твоему Николаю, он видел его огромное чувство и как-то даже завидовал ему. Он воображал, что любит меня, и хотел поклоняться мне, как твоей Николаи тебе, но все равно это было поверхностно, он же не мог быть больше, чем он есть. Недавно я получила от него письмо. И ответила ему. Он утешивал в тяжелых боях...

Дорогая Ксана! Мать твоего Николая очень горюет, от него совсем нет писем.. Она приходила к твоим узнать, пишет ли он тебе. Но писем нет. Дорогая Ксана, встретить его хорошо, когда он вернется, я так хочу, чтоб он вернулся...»

ГЛАВА XVI

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

Ксана ходила как в тумане. С письмом Миры ворвалась напоминание о той жизни, которой она жила до фронта.

Мучительно было вспомнить родных, и особенно отца: когда она уезжала, он был тяжело болен тифом — и все изурены голодом и холодом. А сестры и братишка! Она с тоской отгоняла от себя возникающие перед глазами голубые прозрачные лица, красно-синие вспухшие руки. Ее давило чувство жалости к близким и собственной вины. Взяла да уехала. Хотя чем она могла помочь? Работу найти было трудно. Хорошо, что хоть Леля поступила в хлебопекарню вести учет. Они будут сыты. А какая бы от нее польза была дома? Нет, она не жалела ни секунды, что уехала. И вернуться домой она тоже не

хотела. Это было сильнее ее. Фронтная жизнь — и трудная и голодная — увлекала ее. Навестить родных — это другое дело. Но возвратиться домой? Зачем! Там мир теснее, она уже выросла из него, как из старого платья. Ее место здесь. Она живет жизнью всеобщей, а не только своей собственной. Правда, она не окончила школу. Ну и что же! После войны она уедет в Москву. Учиться. Чтобы стать настоящей артисткой, играть роли, которые она тайком выучивает наизусть. А Мира, милая подружка? С ней связано все дорогое — школа, Дом юношества, кружок друзей, споры о жизни, стихи и Николай. Это все слитное, неразведимое.

И хотя Николая там, в Курске, уже не было, ей казалось, что если она вернется, все ее друзья тоже съедутся и прерванная полоса жизни восстановится. Она еще не знала, что каждый прожитый день уходит навсегда, что ничего не повторяется, что жизнь — это необратимый ход времени, а что ушло с ним, ушло навек. Она этого не знала и, хотя любила все, что там оставила, не хотела возвращаться в прошлое.

Оставаясь одна, Ксана мысленно перебирала все, что было в письме Миры, — маленькие радости и горести, напоминание о друзьях, о встречах. И только одно, самое большое и главное, она обходила, страшась остановиться на нем мыслью, додумать до конца. Это делалось помимо ее воли. Может быть, инстинкт учил ее набирать силы для испытаний. Она тихонько говорила себе: «Николай!» — и гнала от себя этот образ, словно болясь, что перед ней вдруг разверзнется пустота. Ею владел беспричинный страх, в душе копошилась тоска. Одной ей было тяжело, а с людьми она томилась. То бродила подолгу одна, то вписывала в свою тетрадку новые строчки стихов, то вдруг бежала к людям, как вместе с ними попеть, поговорить, подучиться, только бы не вспомнить о своем, о том, что ее мучило.

Надя теперь часто оставляла ее одну. Возле Нади кружились молодой красивой поляк — переводчик Ян. Все свободное время она проводила с ним, а возвращаясь во временное жилище, подолгу смотрела на себя в зеркало, напевала и загадочно улыбалась. Но по-прежнему заботилась о Ксане по-матерински, старалась получше накормить ее, помогала постираться, вымыть голову.

И сейчас, когда они снова въезжали в Киев, отбитый у поляков, Надя шепнула Ксане, всматриваясь в движение повозок, людей, верховых.

— Видишь, там с поднами Ян. Я пойду к нему. А ты не отходи от обоза, а то потеряешься.

Ксана улыбнулась, проводила взглядом легкую фигушку Нади в галифе и сапожках, в белой блузке и накинутаю на плечи френче.

Дело было к вечеру.

Обоз застрял на улице, квартиранты побежали искать пристанище.

Ксана сидела на подводе, ждала и невольно слушала шепоток Адоньева и Клавы Понсет, доносившийся с соседней повозки. В своей излюбленной полулежащей позе, укутанная так, что из вороха вещей выглядывало только ее курносое, некрашеное, но доброе лицо, Клава тихо и поучительно говорила Адоньеву:

— Ты меня не понимаешь, Адоньев, я в душе анерхристика-индивидуалистка, я не хочу никому подчиняться, хочу быть сама по себе. И я ленивая. Я тебе это сто раз говорила.

Что-то нежно буркотал в ответ Адоньев, уговаривал, суетился вокруг подвода.

— А где мои сапоги, Адоньев? — спрашивала Клава. — Там набойки сбились. Надо чинить.

И пока Адоньев торопливо искал на подводе, в ворохе вещей сапоги, Клава своим мягким, чуть шипловатым голосом читала стихи Ахматовой, Бальмонта, Блока.

Чтоб не вслушиваться в чужой разговор, Ксана, сидя на краю подвода, накиннула на голову шинель и, устроив себе таким образом тихое убежище, раскрывала тетрадку.

Картины виденного, пережитого обступили ее. Они всегда сопровождали ее, как бы стоя за кулисами ее повседневной жизни, и достаточно было вызвать их на сцену, как они разворачивались во всей яркости и ошутимости. Приблизиться к ним, пройти снова сквозь них было мучительно и прекрасно: они рвали сердце напоминаниями о крови и страданиях, но странно — на них уже ложилась дымка таинственного, влекущего, как хорошо известная, любимая музыка.

И Ксане хотелось записать хоть немного, хоть что-нибудь; она писала и черкала, писала и черкала и все искала и искала те слова, которые рассказывали бы так, как ей это виделось...

— Еще не разместили вас? — спросил, заглядывая в ее шинельный терем, неожиданно появившийся Рабичев.

— Нет еще.

— Вы что, одна?

— Нет, я с Надей Ласской. Вдвоем. Она только ушла вперед.

— Вот что! Айда ко мне. У меня здесь квартира свободная. Семья уехала. Места много.

— Хорошо! — обрадовалась Ксана. И крикнула Адоньеву, что устроилась, и пусть Надя идет прямо туда, к начподъву.

Рабичев передал комиссару адрес, взобрался на сиденье к вознице, и подвода затарахтела по бульварной мостовой.

В квартире было несколько опустелых холодных комнат, еще сохранявших уют благоустроенного дома, много книг.

Рабичев открыл кабинет, зажег на письменном столе лампу под зеленым абажуром и сам вышел в кухню.

Ксана осмотрела комнаты, нашла в одной диван с подушками, бросила на него свою шинель. Маленькая ночная лампочка слабо осветила лиловатым светом стол, piano.

Девушка постояла, потрогала запылывающую крышку. Ах, если б сейчас кто-нибудь сыграл Лунную сонату! Больше ничего. Только Лунную.

Рабичев вернулся в кабинет, оттуда крикнул, что в кухне есть примус и чайник, можно поставить чай и, набросив на плечи шинель (в комнатах застоялся нежной холод), сел к письменному столу.

Ксана было видно в полуоткрытую дверь, как он рылся в ящиках стола, что-то читал, записывал. Лицо его у зеленой лампы казалось бледным, измученным.

Ксана порылась в книжном шкафу — перед ней мелькнули имена: Фердинанд Лассаль, Жан Жорес, Фихте, Бебель, Эрнест Ренан... «О, как много впереди!» — всколыхнула подумала Ксана, выбрала себе книгу Жеффруа «Заключенный», улеглась на диван и стала читать. Трагическая и благородная жизнь Огюста Бланти — энтузиаста, фанатика и несчастливца — захватила ее.

Шел вечер. Нади не было. Ксана читала. Ей послышались шаги. Она заглянула в приоткрытую дверь. Через несколько неосвещенных комнат там, в кабинете, все так же светила зеленая лампа, но Рабичева возле стола не было. Ксана вгляделась в темноту соседней с кабинетом комнаты и увидела его. Он

стоял, заложив руки за голову у какой-то фотографии на стене. Стоял и думал. Что-то удерживало Ксану у двери. Рубичев всегда казался ей умным, ученым, немного сухим. Политический руководитель. А здесь у портрета стоял худенький, невысокого роста человек, в измятой гимнастике, стоял и покачивался, заложив руки за голову. И Ксана показалось, что ему больно, что он горюет, что чем-то большим полна его душа. Она нечаянно подглядела это. «Кого-то любит,— мелькнуло у нее в голове.— Какая это тайна — любовь,— подумала она.— Люди не говорят о любви. Это было бы мелко, если б говорили... И молча страдают. Но почему страдают?» И неожиданно твердо и уверенно раскрывшись ей, что любить — это не радость, а страдание; или нет: и радость и страдание. И, может быть, больше страдание, чем радость.

Ей хотелось закрыть лицо руками, погасить свет и плакать ахиломолку, чтоб никто не увидел и не услышал. Большое и невероятно прекрасное мерещилось ей впереди, но за этим уже стояло страдание, беда... Так она подумала, не даясь себе отчета, почему ей пришло это в голову.

Кто-то тихо, неуверенным шагом вошел через кухню. В темноте шел наугад, на свет, падавший из комнаты Ксаны. Ксана поднялась навстречу. Она увидела Зойку и ужаснулась ее виду.

— Что ты? — спросила она и, подбегая к противоположной двери, откуда виднелся кабинет Рубичева, быстро прикрыла ее. — Что с тобой?

Зойка села на диван, и слезы, как камни, посыпались из ее глаз, она не вытирала их.

— Меня выгнали, — сказала она. — Из коммуны выгнали.

— Боже мой, что случилось? — удивилась Ксана, глядя на распухшее, бледное Зойкино лицо.

— Приютя меня, Ксана. Мне некуда... Где Надя? Она меня тоже, наверно, выгонит.

— Да что такое?

— Я тебе все расскажу. Я сошлась с одним человеком. У него жена. Ты его знаешь? — захлебываясь слезами, говорила Зойка. — А он просто подлец! Просто подлец! Он меня в такое положение...

— Что ты говоришь? — заволновалась Ксана. — Зойка! Зойка! Что ж ты сделала, Зойка?

— Я его полюбила. А теперь... Ах, какой подлец! Это такой ужас! Ксанка, что мне делать?

— Подожди, подожди. Надя придет... Успокойся. Надо с ней поговорить...

— Меня мальчишки выгнали, — плача в голос, рассказывала Зойка.

— Это невозможно. Как ты могла, Зойка? Я тебя не упрекаю. Но что ж ты сделала?

— Я сама им рассказала, мальчишкам, а они меня... выгнали.

— Подожди, подожди. Я сейчас пойду к ним. Как же это можно? Ты ляг вот здесь. Засни, успокойся. Я пойду с ними поговорю.

Ксана надела шинель, руки ее дрожали. Надо было что-то предпринять. И ей ничего не пришло в голову, кроме того, что надо бежать в «Зойкину коммуна» и поговорить с мальчишками. Она не представляла толком, что произошло, только понимала, что случилось большое несчастье. И это несчастье было в том, что Зойка позволила себе унижительное легкомыслие — сойтись с человеком, у которого есть жена, то есть человек близкий, более близкий, чем она, Зойка. Ничего другого она не могла придумать.

Зойка перестала рыдать, только колени тряслись бурной дрожью, она прижимала их руками, но руки тоже дрожали. Нестерпимо было на это смотреть.

— Ты ляг, Зоя. Ляг. И спи. Я побегу. Только дай мне адрес. Надя скоро придет. Ты ей все расскажи. И, несколько раз повторил адрес, Ксана выбежала из дому.

Путаясь в темных незнакомых улицах, она с трудом нашла длинный деревянный дом с рядом черных окон. Только в одном окне горел свет. Ксана постучала в это окно и вошла во двор. Входной двери с улицы не было. Вдоль всего дома во дворе тянулась открытая, заставленная всякой рухлядью терраса. Ксана поднялась на террасу, нашла дверь, толкнула ее и сразу оказалась в освещенной комнате.

Ей бросился в глаза большой стол с обрезками материи, на столе восседал, скрестив ноги в носках, старик еврей, с картинно красивой седой бородой и седыми выщипыми волосами, прикрытыми черной шапочкой-ермолкой.

Тут же, у стола, топилась железная печурка, с огненным прогоревшим боком. Вокруг печурки сидела вся «Зойкина коммуна» — трое ребят. Они что-то хlebали деревянными ложками из одного котелка.

— Ксана! — кричал Толя Дмитриев, снимая с котелка котелок. — Ты что?

Тарасов и Коля Поторгуев вскопчили:

— Ну и ну! Вот гостя! Случилось что!

Но по тому, как часто моргал Толя Дмитриев, как разведил руками Тарасов и таинственно улыбался Коля Поторгуев, Ксана видела, что все они отлично понимают, почему она пришла.

Ксана неловко было говорить при чужом человеке. И старик понял. Он стяхнул сматанный и разрысованный мелом пиджак, слез со стола и, надевая на носки галоши, величаво сказал:

— Я уже пойду к жене, хватит с меня на сегодня. А вы, барышня, сядьте, угощайтесь. — И неизвестно к чему, добавил: — Жизнь есть жизнь! — Его веселое выражение лица совсем не вразлоло с седной со старостью. Казалось, что стоит только начать разговор, он скажет много смешного, остроумного, что он прожил интересную жизнь. Но сейчас было не до него. Едва старик вышел, Тарасов спросил:

— Насчет Зойки, да?

— Да, — ответила Ксана, чувствуя неловкость и не зная, с чего начать.

Но Коля Поторгуев, обычно тихий и застенчивый, вдруг горячо заговорил:

— Мы ее берегли, мы все ей делали, мы как слуги были, она у нас, как дитя, жила. Ни разу никто ничего не позволил себе... Эх, Ксана, мы же, как братья, охраняли ее, дуру эту поганую... — Он сильно покраснел и махнул рукой. Никогда еще он так много не говорил.

— Боже мой, как вы строго!

— Ты вот что, Ксана, — мрачно добавил Тарасов, — не мешайся в это. Строго! Потому что фронт! Мы ее предупреждали, мы говорили. Она все «хи-хи» да «хи-хи». Уж как мы ее оберегали! А теперь что говорить! Будет о трупле! Обманула она нас. Мы ее чистой считали. Мы при ней, знаешь, как... Ну ее к чертовой матери...

— Ну! — обормала его Ксана. — Как вы смеваете? Я вас рыцарями считала...

— Да ты знаешь, ты знаешь, что произошло-то?

— Не знаю и знать не хочу! — кричала Ксана, зажимая уши, чтобы не услышать что-то страшное. — Да вы-то как поступаете? Ей и так худо. А вы ее как ославляли! Выгнали! Как это?

— Не хотим мы ее, такую, не хотим! — тоненьким голоском кричал Толя Дмитриев. — Вот и ас! И ты, Ксана, не мешайся. Тебе нечего! Мы ее к себе не возьмем!

Ксана села.

— Товарищи милые,— сказала она тихо.— Что же делать?

— Уезжать ей! — резко бросил Тарасов, выпуская изо рта огромные клубы дыма.

Некоторое время все молчали.

— Пойдем, проводим тебя,— предложил Толя, — а то поздно.

Шли не спеша по темным улицам. Народу не было, только патрули медленно бродили по тротуарам, и шаги их гулко разносились, вызывая эхо среди домов.

На ходу прощаясь у дома, никто не сказал больше ни одного слова о Зойке.

Надя встретила Ксану в кухне. Пропетала:

— Зойка спит. Там, в другой комнате, есть еще диван. И кресла в составила. Как-нибудь уляжемся.

— А что с ней делать, Надя?

— Да ничего особенного,— спокойно сказала Надя.— Дуреха она, вот и все! Лучше всего бы ей уехать. Завтра поговорим.

ГЛАВА XVII

ДЕНЬ ТРЕВОГИ

Алинная струйка дыма поднимается к потолку и, расплываясь там, как источка, чертит бесполойные зигзаги. Кухонная керосиновая лампочка, подвешенная высоко на стене, накренилась набок, стекло почернело. Люди не замечают этого. Одни сидят на двух простых узких скамьях у стен, устало упираясь локтями в колени, курят, ждут собраний. Другие стоят кучками или уселись на краю стола, на подоконнике — беседуют, спорят. По черной доске на стене можно догадаться, что здесь когда-то был класс, теперь парты вынесены, стены грязные, закопченные. В комнате густой махорочный дым, силуэты людей вырисовываются, как в туманных картинах, что отражает на белой простыне волшебный фонарь.

Ксана стоит в нерешительности у порога и невольно слушает долетающие до нее оживленные разговоры.

— ...Такая братва приехала, понимаешь! Ребята с одного завода Ну-у, увидишь!

— Это наши, бакинцы! Знаю, знаю.

— И латыши! Крепкие! Как из железа козаны...

— Теперь должно дело пойти. Держись, шляхти! Два человека азартно спорят:

— Предположим, я не понимаю в тактике. Но

пусть мне объяснят, зачем загнали людей в лошину, это же настоящий капкан. Их перестреляли, как кур.

— Брось! Не было другого выхода! Или ты что, считаешь их нарочно, что ли, подставили!

— Я ничего не считаю. Я хочу получить объяснения командира, как это произошло. Могу я требовать объяснения?

— Командир не обязан перед тобой отчитываться!

— Перед всеми, не передо мной...

— Не обязан!

— Так? Не обязан? А комиссар обязан!

Люди спорили о чем-то очень значительном, Ксана хотелось дослушать их до конца и понять, что случилось, но ей необходимо было еще узнать о том важном, для чего она сюда пришла. А лампа копчила все больше, и надо было немедленно прикрутить

фитиль. Как достать эту лампу? Видимо, придвинули к стене стол, чтобы повесить ее так высоко.

Ксана подошла ближе и озабоченно огляделась. Да, надо было придвинуть стол.

— Ты что? — поднявшись со скамьи, спросила ее девушка в накиннутой на плечи кожаной куртке, под которой виднелась солдатская зеленая гимнастерка и такая же юбка.

Ксана взглянула в смуглястенькое, веснушчатое лицо девушки, в ее живые, умные карие глаза.

— Лампа! — показала она.

— О-о! — Девушка быстро ухватилась за стол.— Ну-ка, ну-ка, слезайте! — чуть улыбась, кинула она головой стол, кто сидел на столе.

Те вскочили. Кто-то помог придвинуть стол к стене, сам влез на него и привернул фитиль.

Девушка посмотрела на Ксану, мягко улыбнулась. Было в ней что-то спокойное, даже немного робкое.

— Здравствуй, Ксана!

— Здравствуйте, — нерешительно ответила Ксана.

— Ты меня не знаешь? Я Клава Духанина. Я в подвале работаю.

— А-а! Я слышала про вас. Вас орденом наградили!

— Да. А почему ты мне «вы» говоришь?

— Ну... вы же старше меня. И на фронте уже давно.

— Ну и что же? Ты тоже на фронте. Сколько тебе? — спросила она и сама почему-то смутилась.

— Семнадцатый пошел.

— Да, совсем еще... Мне уже девятнадцать... А ты сегодня в партию вступаешь?

— Да! — Ксана обрадовалась. — Вы знаете об этом?

— Знаю, конечно. Нет, так не годится, я не люблю так... Давай на «ты»! Вот, Ксана,— улыбась, она взглянула в лицо Ксаны, словно раздумывала, можно ли с ней говорить, как со взрослой. — Я про тебя еще что-то знаю.

— Что?

— Что ты стихи пишешь.

— Нет, это я только для себя.

— А ты не для себя. А для нашей газеты напиши. У нас газета хорошая!

— Я не сумею. Я совсем не умею.

— Ну попробуй хотя бы.

— Я попробую.

— Ты волнуешься?

— Нет, я совсем не волнуюсь. Я обдумала и решила, что необходимо вступить в партию. А вы? А ты? Также?

— Да, я уже член партии. Еще в Москве...

— Ты москвичка? Я обязательно потом поеду в Москву.

— Конечно. Тебе надо еще учиться.

— Да! Я так и думаю... Только потом. Когда война кончится. Ты, наверно, часто ездил на передовую?

— Езжу. Знаешь, я еще в Москве поведала немного.

— Когда?

— Во время революции. В семнадцатом.

В комнату вошел высокий сутулый человек с белым спокойным лицом и круглой черной бородой. Он поинял кого-то глазами, заметил Духанину, направился к ней, о чем-то заговорил.

До Ксаны донеслось:

— Приказ есть отпралаться... Наши здорово продавлены... Сейчас проведем собрание накоротке... Только самое неотложное решим.

Среди разговора неожиданно она оба поверну-

лись к Ксане. Чернобородый внимательно и строго посмотрел на нее, а Клава, улыбаясь, покивала ей головой. Потом чернобородый неожиданно поздоровался с Ксаной и, все так же серьезно глядя на нее, пожал ей руку. Ксана смутилась, и, когда вдруг в дверях показались Адоньев, Маруся Емельянова, Скорцова, она сорвалась с места и подошла к ним. Шумно вошла еще группа людей, с ними Рабичева.

Все вокруг зашевелились. Рабичева окружили, расспрашивали, снова посылались голоса спорщиков. Началось собрание. Из коридора входили люди, в комнате стало тесно, многие протискивались вперед, становились прямо перед Ксаной и своими спинами загоразивали от нее все, что происходило в центре комнаты. В просвете между людьми она увидела, как Рабичев подошел к столу и, опираясь на него своей шестипалой рукой, стоя, стал читать какой-то документ. А у противоположной стены, астав на цыпочки, Клава выткнула шею и глядела по сторонам, кого-то искала. Может быть, ее, Ксану?

Все еще кто-то входил, люди топтались, продвигались вперед. Ксана плохо слышала, она была невелика ростом, а слова с трудом пробивались сквозь плотную людскую стену.

Все же до нее доходило, что речь идет о том, как мужественно вели себя красноармейцы и командиры какой-то части в недавних боях, говорилось о тех, кто особенно отличился, упоминались отдельные бои. Иногда делались упреки по чьему-то адресу. Все это слышалось неотчетливо, люди шумно встречали каждое сообщение, переговаривались. Многие Ксану упускала.

Но ее тревожило другое: а что же она, Ксана, сделала такое, чтобы ее приняли в партию? Она не участвует в боях, просто разъезжает с труппой по прифронтовой полосе, бывает иногда на передовой. Если артисты попадают в трудное положение, так только потому, что фронт очень подвижный, все часто меняется, войска то наступают, то отступают. Но она-то сама еще ничего хорошего не сделала. Она не может равняться с теми, о которых сейчас говорят, которые постоянно в боях, рискуют жизнью; вот они-то храбрые люди, прямо герои, они идут на смерть, чтобы защитить Советскую власть. А она! Ведь еще и трусиха в душе. Как она ревела, когда ковер тащил! А когда шла той морозной ночью по поручению Адоньева, как боялась волков и пряталась, дуреха, на кладбище! Она, конечно, сделала тогда все, что ей сказали, но ведь никто не знает, как она трусила.

Интересно, как это все будет происходить. Вероятно, вызовут, поставят перед всем собранием и... и что? Что? Она не представляет, как это будет. Но, наверное, очень торжественно и тайно. Она еще не видела, как принимают в партию. И никто ей не рассказывал. Даже у отца никогда не спросила. Правда, его принимали давно, еще в семнадцатом. Ей тогда было мало лет, ничего не смыслила. И не догадалась же теперь кого-нибудь спросить!

Воображение рисует ей необычную величественную картину. Вероятно, ее поставят на какое-то возвышение и будут ей что-то говорить. Может быть, прочитают ей какие-то законы, правила или предупредят, какой она должна быть отныне. И ей надо будет дать клятву или обещание, а может быть, присягу. Или отречься от чего-нибудь.

И только тогда откроется какая-то светлая дверь и ей скажут: «Войди!» Вот так, как у Тургенева, — стоит девушка у порога...

Ксана до того реально представляет себе эту торжественную минуту, что у нее все замирает в груди. А вдруг ее спросят: «С какими мыслями вы идете в партию? Чего вы добиваетесь? В чем сомневаетесь? Что вы сделаете хорошего для народа? Какой вы станете? И что оставите за порогом?»

И на все это надо будет ответить! Вот когда Ксаной овладевает волнение. И от этого в голове стоит звон, будто на маленьких колоколках быстро-быстро вызванивают колокола.

До Ксаны доходят отдельные слова и фразы выступающих. Сейчас говорит Клава, ее речь тихая, но ясная, и Ксана почти все слышно.

— Больно терять товарищей, — говорит она. — Многих мы потеряли. Слыва им, отдавшим свои жизни в бою...

Кругом шевелятся, снимают фуражки, вздыхают; те, кто сидел, встают. Несколько секунд все стоит молча.

— Мы пополним свои ряды. На место выбывших придут другие, — снова говорит Клава.

Опять становится шумно. Раздаются какие-то возгласы, кто-то выступает.

Адоньев тихоночь подталкивает Ксану и на ее вопросительный взгляд только моргает и улыбается. — Здесь! Здесь! — кричит он кому-то через головы.

Маруся смотрит на Ксану строго, без улыбки. «Почему она так смотрит? — думает Ксана. — Может быть, видно, как она волнуется! Надо держать себя в руках».

Грузный высокий человек в хорошо пригнанном френче, пробираясь вперед сквозь толпу скупиившихся у двери людей, прошел мимо Ксаны. Перед ней мелькнуло уверенное, чисто выбритое лицо с блестящими, как изюмины на куличе, глазами, с подстриженными усиками.

И сразу в ее памяти ожила картина: ночь, стрельба, через плетень прыгает, озирается, человек в полушубке и стреляет наугад в темноту. Вот этот человек, с быстрыми черными глазами. Он бежит с места бол. Он просто трусливо прячется в закутки дворов.

И вот теперь он пришел на партийное собрание.

Горячим пламенем зажигается лицо Ксаны. Шумные волны бьют в уши, накатываются, как прибой, Ксана ничего не слышит.

Воспоминание так страшно, что о нем невозможно никому сказать.

«А может быть, я ошиблась? — думает она. — Может быть, это не он! Может быть, это совсем не было!»

Она всматривается в его профиль, оглядывает всю его фигуру, такую сильную, крепкую, его широкие плечи, жирный затылок, курчавые волосы. Он и не догадывается, что кто-то знает его тайну, что кто-то, рассматривая его, пытается проникнуть в его мысли. Вдруг он беспозвольно оглядывается, ежится, как человек, почувствовавший чей-то упорный взгляд. На каную-то секунду его глаза задерживаются на лице Ксаны, но она непроницаемо смотрит вперед: если их взгляды столкнутся, он сразу поймет, что его тайна известна.

Потом он проходит вперед и что-то говорит, говорит, кажется, отвечает на вопросы, но до Ксаны долетает только голос, только интонации, такие боевые, такие уверенные. Или нет, это, наверно, бьют в уши волны, тяжелые волны гнева, испуга, обиды, отращения...

Вновь и вновь возникает в памяти та сцена. Она стоит перед глазами, и Ксана всматривается в нее,

всматривается сквозь темноту и видит все-все, вплоть до жердины, полуотгорванной от плетня, на которой еще мотаются ленточки лыка, да кучи хвороста у сарая, припертой к стене оглоблей, чтоб не рассыпалась, вплоть до отстающей полы его дубленого полушубка, когда он, пригибая голову, стрелял назад не оборачиваясь, не глядя, друг там или враг. Ксана даже кажется, что сейчас она видит все подробности, которых тогда не смогла из-за спешки разглядеть, они отпечатались в ее памяти, как на фотопластине, и теперь она может внимательно рассматривать их...

А если это был не он? Кто-то похожий? А она мысленно клеветает на него! Ведь вот же он на партийном собрании, — наверно, член партии. Нет, не надо о нем думать. Так легко ошибиться. Лучше потом она поговорит с Клавой. Потому что ведь, может быть, это все-таки он?.. Довольно, довольно о нем! У нее сегодня такой важный день. Надо быть внимательной. Там ведь что-то говорит. И почти ничего не слышно. Ксана пытается взглянуть из-за спинок, до нее смутно доносятся слова Рабичева: «...смелая, много раз отправлялась на передовую... Это, конечно, о Клаве Духаниной. Какая же она храбрая! А по виду такая обыкновенная, с веснушками...»

По собранию прокатывается долгий шум, стихает, снова прокатывается. В задвигавшейся толпе опять мелькает лицо того грузного, высокого человека. Он вытирает лицо большим чистым платком. Редко у кого видишь такой чистый платок. Он вытирает лицо, и его блестящие глаза бросают быстрые взгляды на окружающих.

«Надо пойти вперед, — решает Ксана, — я ничего не слышу здесь, за спинами этих огромных людей. И не желаю я больше думать об этом человеке. И Ксана начинает проталкиваться вперед; ей казалось, что это будет очень трудно, но между тем ее легко пропускают, даже помогают ей. Адоньев как-то ласково хлопает ее по плечу и подталкивает.

Внезапно все начинают двигаться, громко разговаривать. Собрание окончилось. Ксана прямо тут же сталкивается с Клавой и с радостью жмет ей обе руки. Вот какая она, Клава! Такая скромная с виду, с веснушками. Клава обнимает Ксану за плечи, и они вместе со всеми выходят на улицу.

И вдруг словно молния обжигает Ксану. Но ведь это-то, Ксану, должны были принимать в партию! И

почему же не принимали? Ей становится так нехорошо, так горько и обидно, и странное чувство собственной вины овладевает ею. Надо было самой пойти вперед и напомнить. Или спросить. А она-то наблюдала за этим отратительным человеком.

Она хотела бы спросить Клаву, как же ей теперь быть, но это очень стыдно. Ведь надо было самой пойти вперед и сказать. Что сказать? Что она должна была сказать? Примите меня в партию? Нет, разве так это делается? Ведь есть ее заявление. Ксана до слез обидно. Она так ждала этого дня. Она столько ночей думала обо всем. И о том, как она должна дальше жить и поступать.

На улице они останавливаются и кого-то ищут. Клава ждет Рабичева. Может быть, все-таки спросить у нее: как теперь быть? К ним подходит тот черноробордый необычный человек. Его фамилия Дабор, так называют его Клава. Дабор. Он смотрит на Ксану и кивает ей. И Ксана тоже машинально кивает, но на лице ее — отчаяние.

Потом вдруг подходит тот, грузный, самоуверенный. И опять перед глазами Ксаны мелькает та страшная картина, как в кинематографе.

Клава Духанина разговаривает с ним. И Ксана хочется убежать. Убежать домой и все рассказать Наде, во всем разобраться. Но Клава крепко держит за плечи, словно чувствует, что Ксана не по себе.

— Вот, познакомься, Ксана, это Шкляр. Его тоже принимали. — Клава еще что-то говорит, но Ксана слышит только одно слово «тоже». «Тоже принимали». Значит, еще кого-то приняли? Кого? Ее, Ксану? Не может быть! Ей ничего не говорили, у нее не брали клятвы, обещаний. Так, наверно, это было по-другому? Конечно, по-другому. Только она плохо слышала. Приняли! Именно ее приняли! Приняли!

Мысли Ксаны бегут, бегут. Ее приняли. Значит, ее приняли, Боже, как все ужасно вышло! И этот тип, Шкляр, — его тоже приняли! Кто же он такой! Может быть, это все же не он? Не тот! Иначе как его могли принять? Но нет! Ничего неправильного сделать не могли. Это же в партию!

«Довольно, довольно волноваться, — сама себе говорит Ксана. — Глупая фантазерка, чего только не навывдумывала: клятвы, отречения, присяги! А это гораздо проще. Все хорошо, все правильно!

Спокойно иди домой и обо всем подумай. Вероятно спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно!»

(Окончание следует).



Петр ВЕГИН

Колыбельная

У меня колыбельной не было.
У меня была колыбельная —
колыбельная самодельная.
В ней из разных песен слова
про войну и про полюшко белое.
Коротка была, солоня
колыбельная.
В санитарном поезде
под Баюклями
мездестра Полечка
меня баюкала.
«Полюшко-поле...»
А колеса язгали
на разьезде.

Полечка, Полечка...
Красненькие крестички...
Колыбельная.
Колыбель.
Стая тающих голубей.
Как надломленный колосок
надо мной ее голосок.
Ты не стой у меня в изголовье,
я не маленький.
А она стоит в изголовье:
«Что, мой маленький?»
Ты не стой, уходи лучше спать,
колыбельная.
Дай мне новую написать
колыбельную...



КСАНА МУРАТОВА —

ФРОНТОВАЯ АРТИСТКА

Рисунки И. Блиоха.

ГЛАВА XVIII

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР

Сцену наспех построили на лужайке, у чьего-то вишневого сада, отгороженного невысоким плетнем. Гроздья цветущей вишни протискивались сквозь щели, лежали на светлых неструганных досках сцен.

Бойцы расселись и разлеглись на траве. Желтые одуванчики высовывались из-под их разбросанных ног, из-под винтовок, отдылавших рядом с бойцами.

Шел концерт.

Ксана недавно разучила «Товарища» Горького и накануне вечером репетировала со Скворцовым. Но репетиция шла плохо, в нескольких местах Ксана сбивалась, словно текст был с уступами, через которые она не могла перешагнуть, и теперь она с тревогой ждала своего выступления.

Ксана чувствовала себя уставшей от длинных переходов, оттого что мало спала.

Армия быстро двигалась вперед, полянки отступали. Труппа следовала за передовыми частями. Шли и шли лешком, днем делали короткие привалы, чтобы поест. В дороге редко удавалось присесть на подводу: берегли заморенных лошадей. Вечером сваливались от усталости в избух, в клунах, на сеновалах, а с солнцем снова шли.

Но не только усталость, какое-то внутреннее беспокойство ютились в душе Ксаны. Много разных событий произошло за последнее время, надо было их обдумать, всмотреться в них, наедине с собой не спеша разобраться.

Ксана приняла в партию; до сих пор она ощущала новизну этого события, ей казалось, что теперь надо жить уже как-то по-другому, иль, вернее, к тому, как она жила раньше, надо добавить еще что-то. Но что именно, она не знала и чувствовала себя виноватой в том, что, может быть, не делает всего, что должна делать.

Мучило ее и письмо Миры, в нем была невысказанная смутная тревога. Ксана знала Миру, ее умение сдержанно сказать о самом трудном... При одном воспоминании об этом письме Ксана болезненно морщилась и отгоняла всякие мысли о Мире, обо всем, что их связывало, и особенно о Николае. О нем она совсем не могла думать.

А недавний торопливый отъезд Зойки... Ее ссора со своей коммуной... Во всем этом было что-то непонятное Ксана, и хотя оно никак ее не касалось, но тень этой чужой жизни нависала где-то рядом, и обойти ее было невозможно.

Все эти такие разные события тесно обступили Ксану; она чувствовала, что жизнь вокруг гораздо сложнее, чем представлялось ей раньше, не вся она на виду, многое таится глубоко, под спудом.

С этими беспокойными мыслями стояла сейчас Ксана возле сцены, чуть опираясь на нее, в своем старом синеньком платьице, которое ей очень шло, и ждала выхода.

Кулис, где можно было спрятаться. побыть одной,

здесь не было, она стояла на виду, лицом к лицу со зрителями, которые с любовью-страстью оглядывали ее. Народу набралось много, за бойцами разместились крестьяне, прибежавшие посмотреть представление.

Маруся и Скворцов играли сцену из пьесы «Борьба за волю». Их слушали внимательно, но реагировали совсем не так и не так, как ожидали артисты.

А когда пришел Ксанин черед и она поднималась на сцену, ей живо вспомнилась зимняя история — злополучное чтение стихов Фруга перед конниками. Ее сразу обдало жаром — именно так она себя чувствовала тогда, несобранная, неуверенная, с расплывающимися мыслями. Чтоб успокоить сердце — она сильно билась, — Ксана постояла, оглядела зрителей. Мельком она увидела в стороне Алешу Крушенко и его командира Желтовского. Они, видимо, только что спешились, потные, в пыльной одежде, на запястьях хлысты. Дальше, у двора, топтались их привязанные кони.

Ксана медлила. А снизу уже что-то шептал Скворцов, и Надя Ласская с книжкой в руках стояла совсем близко, чтобы посуфлировать, если будет необходимо.

Ксана подошла к краю сцены, подняла глаза: с голубого-голубого неба свисало огромное, до самого горизонта, белое расплавленное перо. С него сыпались пушинки куда-то вниз, за край земли, их золотило дневное солнце.

И неожиданно для самой себя, по какой-то странной ассоциации, Ксана обратилась к зрителям:

Послушайте!

Ведь, если звезды закипают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Еще до фронта ей попалась тоненькая синяя книжка с парусом на обложке. «В. Маяковский». Имя ей тогда было неизвестно. Но стихи сразу полюбились. Сейчас внезапно она вспомнила их и прочла, повинуясь голосу души, которая сама отбирала стихи в свою копию, их не надо было учить, они запомнились и сами просились дерить их людям.

Ксана прочла и постояла, не уходя со сцены. Ей хлопали. Она видела, как, улыбаясь, били в ладоши Алеша и Желтовский. На артистов она не глядела.

И уже полная того огня, который загорался в ней во время ее лучших выступлений, Ксана стала читать «Товарища». Ей представлялось, будто от нее отлетают искры и осыпают зрителей, и вот она уже видит блеск и игру в глазах людей, которые до сих пор сидели развалясь, с обычными, усталыми лицами. Как изменились они! Как подались вперед! Вот это она любила!

То, что вчера так скучно и неинтересно шло на репетициях, вдруг стало значительным, огромным, увлекло всех вокруг, и они слушали, улыбаясь, с широко раскрытыми глазами. И сама Ксана уже не читала, а пела, ей казалось, что она поет, хотя это было все-таки чтение. Ей самой было радостно до слез, они наполняли глаза, и сквозь их блестящую призму мир казался волшебным и счастливым. Это она любила!

Она сбегала со сцены, еще вся светясь. Хмурый старик Романов смотрел ей вслед, как всегда, исподлобья, но улыбка раздвигала его губы. А Красной, голос которого был окрашен только в один цвет иронии, стоял и серьезно качал головой вверх — вниз, вверх — вниз.

Не зная, куда деться от глаз зрителей, Ксана обошла их стороной и стала позади.

Она заметила, что Алеша и Желтовский тотчас же двинулись, чтобы подойти к ней.

Ксана пошла им навстречу.

Кто-то, высокий, в распухнутой черной кожухе и такой же черной кепке, улыбулся ей издали. Она не сразу узнала Шуру Бермана. Он показался ей похужевшим и более высоким, чем раньше. Ксана покивала ему головой, подумала, что обязательно должна рассказать ему, как ее принимали в партию, но Алеша и Желтовский уже подошли.

— Приходите к нам сейчас обедать, — пожимая ей руку, сказал Желтовский и, чуть играя своими красивыми глазами, добавил шепотом: — Алеша совсем заскучал без вас. И Надю возьмите.

Ксана прищурилась: мол, согласна. Каждый раз, когда Ксана и Надя, а иногда с ними и Скворцов встречались с Желтовским и Алешей Крушенко и проводили вместе два-три часа, вечер превращался в маленький праздник.

Мягкий, умный, в беседе полный шутилого лукавства, Желтовский тянулся к артистам, любил пофилософствоваться, послушать стихи, песни, сам недурно пел. Ему уже было тридцать пять, к молодому своему помощнику Алеше он относился с тем вниманием и любовью, с которым умные отцы присматриваются к юному поколению.

Ксана пришла к Желтовскому в еще не потухшем, взволнованном состоянии, которое осталось после выступления. С ней пришли и Надя и Маруся со Скворцовым.

Обедали. Мужчины выпили по чарке. Потом сидели, курили. Ксана читала стихи. Алеша всегда просил ее читать. Сегодня она была, что называется, в ударе. Алеша стоял в неосвещенном углу и смотрел на нее большими строгими глазами.

Маруся пела. Это не было похоже на песни Нади, разудалые, лихие, хватающие за душу. Голос у нее был небольшой, она скорей проговаривала слова речитативом, вкладывая в них излишнюю многозначительность. Бледная, худая, с крупными чертами лица, она производила впечатление человека измученного, несчастливом. Когда она пела «Буйный ветер играет с терновником», казалось, что в этой песенке заключена какая-то ее собственная драма.

Надя смотрела в окно, задумчиво и серьезно слушала.

Ксана было уютно и хорошо. Немного отступили мушкетеры ее заботы, о них сейчас не думалось. Ей все нравилось в Желтовском, в Алеше, их мягкое внимание, какие-то особые нити, которые тянулись от каждого из них к ней, Ксана.

Вошел вестовой. Желтовского вызывали к начальнику дивизии. Вечер кончился. Продолжалась обычная походная жизнь. Все стали собираться домой.

Процаясь, Желтовский близко подошел к Ксана и тихонько сказал:

— Алеша любит вас, Ксана.

Ксана отстранилась.

— Зачем вы это говорите, Григорий Иванович? — И торпливо добавила: — Я тоже люблю Алешу. И вас люблю.

Лукавые искры заблестели в глазах Желтовского. — Умница! — Он поцеловал ей руку и, наклонив в дверях голову, легко выбежал из хаты. Через секунду раздался громкий топот пущенного вскачь коня и так же быстро замер вдали.

Алеша провожал артистов. Ксана шла и молчала. Сегодня ей было так хорошо, такая радость наполнила ее на сцене и потом весь день жила в ней!

И этот добрый вечер с добрыми людьми окутал ее покоем, теплом. Но что-то произошло, и с новой силой вернулось беспокойство. «Развлекаешься! Играешь! — с укором сказала она себе. — Радуйся, что кому-то нравишься. Не хочешь думать о том, что тебя ждет...»

Она отошла в сторону, к краю дороги. Надя и Скворцовы, оживленно разговаривая, ушли вперед.

Алеша перешел к Ксане и зашагал рядом. Они говорили мало, изредка перебарывались словами. Совсем стемнело.

— Устал! — спросил Алеша.
— Нет. Просто очень много всего. — Она хотела что-то добавить, но в эту минуту перед ними в сумерках возникла лошадиная морда.

Алеша оттолкнул в сторону Ксану и схватил лошадь под уздцы. Верховой только сейчас заметил пешеходов, засуетился, закричал на лошадей.

— Ну можно ли так! — с укоризной бросил ему Алеша. — Смотреть надо! Василий, ты?

— Не заметил, товарищ Крушенко, — оправдывался красноармеец. — Едешь о двуконе, темнота. Товарищ Суржак отослал коня.

— Ладно, — ответил Алеша. — Дай мне его. Я доведу домы.

Боец отвязал коня и отправился дальше. Алеша проверил подруги, поднял Ксану.

— Хотите доехать? — спросил он Ксану.
— Ужасно, — созналась она. — А можно?
— Предположим, нельзя. Но вы же очень любите верхом.

— Да. Мне бы в кавалерии служить!
— Привяжите потом лошадей у себя во дворе. Я приду за ней.

— Хорошо. Спасибо.
Ксана тронула повод, неторопливо отъехала, свернула на свою улицу. В темноте еще некоторое время ей было видно, как белело лицо Алешы, потом медленно растаяло.

ГЛАВА XIX

ПОД СОСНАМИ

Ксана остановила лошадь у ворот дома и, не спешая с седла, огляделась. Пока она ехала, тучи раздвинулись и в прорези показался месяц. Земля словно ожила. Побелела трава, заблестели темные стекла окошек, мазанки засверкали белыми боканами. Было пустынно, редко слышались шаги проходящего человека, где-то поскрипывали не то раскрывающиеся двери клуны, не то ворот колодца. Ни ветрера, ни голосов, ни собачьего лая. Вероятно, это были случайные минуты тишины, она могла тотчас же нарушиться солдатской песней, перебранкой, громким говором. Но сейчас в белом свете месяца, в молчании всего живого, в неподвижности природы было что-то величавое.

Ксана тронула повод и повернула лошадь к меже, в поле. Казалось, и лошадь шла бесшумно, едва прикасаясь легкими копытами к земле.

Уходящий день проливался в памяти Ксаны. Как ей не хотелось выступить, и как потом хорошо все обернулось! А все эти новые стихи!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно...

В них есть невысказанная тоска, боль о чем-то... Ксана подумала об Алеше. Конечно, чушь то, что сказал Желтовский, но Алеша — хороший человек. Скрытный, молчаливый, а добрый. А сам Желтовский! Хорошо, что все же он далек Ксане, они никогда не говорили ни о чем с глазу на глаз, не гуляли вдвоем, как с Алешей. Кого-то он напомнил ей сегодня, когда наклонился и сказал те слова. Ксана не может вспомнить, кого, но это связано с чем-то недобрим, от чего надо бежать. И зачем он это сказал!.. Наверно, есть женщины, которым он очень нравится, они тоскуют о нем и боятся его...

Но зачем она об этом думает? Да! Вот кого напоминает Желтовский! Борис! Конечно, Бориса, божьего мой, как это она сразу не поняла! Сейчас она даже содрогнулась от этого воспоминания.

Мысли Ксаны перескакивают с одного на другое. Шура был на концерте. Надо с ним поговорить. Обязательно. Это он первый посоветовал ей вступить в партию. Он, наверно, и не знает, что ее приняла.

...Надо написать Мире. Мира, подруга моя, почему мне так горько от твоего письма? Вот что грызет душу. Вот что Ксана отгоняет от себя, бессознательно, инстинктивно. И думает и думает о Мире. Нет, даже не о ней самой. А о том, что она знает.

«Что она знает? Что она знает? — чуть не закричала Ксана и остановила лошадь. — Что она знает? Что она может знать?» Вот это терзает и мучает Ксану уже столько времени. Она только трусит, боится сойтись самой себе.

Ксана прыгнула с лошади. Несколько сосенок образовали здесь маленький островок в поле. Ксана отпустила повод. Лошадь нежно тронула губами траву. Ей понравилась трава. Она отошла дальше и мягко стала отрывать ее зубами и пережевывать.

Ксана села на землю, оперлась головой на руки. «Божьего мой, что же это я хожу, как во сне!» И словно выплеснулось из души то, что все время лежало в ней, как под могильным камнем.

Да ведь его уже нет! Его уже нет! Его уже нет! Она еще тогда почувствовала это, когда читала письмо. Его нет! Нет больше! Совсем нет! Это вдруг стало так ясно, что Ксана похолодела. Нет, даже не письмо Миры, что-то другое, страшное и сильное, как сверканье молнии, сказала ей через многие версты: его больше нет!

Будто она услышала его предсмертный крик, зов, обращенный к ней, он ударил ее в сердце. И уже не надо было ни вестей, ни писем, ни утешений. Вокруг была огромная, черная пустота. Она представлялась Ксане в виде почти бездонной, почти бескрайней воронки от бомбы — ни дна, ни края.

Она вдруг заплакала громко, не в силах больше сдерживаться. Ведь она чувствовала это все время, с тех пор, как прочла письмо Миры, она только страшилась открыть это себе, бежала от этой мысли и только стонала по ночам, потому что душа ее болела.

Она плакала и говорила сама с собой и с ним, который был самым дорогим в ее жизни и которого уже не было.

Утрата была страшной, она переворачивала всю ее жизнь, делала ее пустынной и холодной. Почти физическая боль души крутила и ломала ее. Она закричала громко: «Николай!» И сама испугалась сво-

его крика, бросилась лицом в траву, и забилась, и заматалась, и запричитала, как причитают и кричат бабы в деревне, хотя никогда не слышала, как это бывает. «Коленька, Коленька милый, родной мой, Коленька!» — звала так, как никогда не делала при его жизни.

Потом она затихла и сидела на земле, качаясь из стороны в сторону и с силой сжимая голову. Неожиданно порыв ветра прошуршал по траве, будто кто-то прошел легкими шагами.

— Да! — спросила Ксана. — Да! — Рывком придавилась к тому месту, где прошлепала трава. Прислушалась, замерла. Долго сидела и слушала, сдерживая дыхание, чтобы не пропустить, словно он, мертвый, мог пройти здесь. Но он прошел. Она знала, что это невозможно. И знала, что это возможно. Что это произошло сн. Ей надо было так думать.

Она больше не кричала. Только плакала тяжелыми горючими слезами и гладила руками траву.

— Ты! — говорила она. — Это ты! Как же теперь будет без тебя!

Ей вспомнилось; как однажды поздно вечером они долго стояли у калитки ее дома, говорили о чем-то очень важном, и он сказал: «Есть одна дорога для меня истина: «Есть выше любви, еще что душу положит за други своя».

Она его спросила: почему он берет это из евангелия? Разве нельзя сказать иначе?

Помолчав, он ответил:

— Не знаю лучшей формулы. Здесь нет ничего от религии. Просто народная мудрость на славянском языке.

Она давно забыла этот разговор, а сейчас вспомнила его отчетливо, даже интонации, даже блеск его глаз, выражение лица, прядь прямых черных волос, упавших на лоб, и позу: чуть приподнятое плечо, нога на ступеньке крыльца.

— «За други своя», — громко проговорила Ксана, осознавая смысл этих слов. — Если б ты мог быть со мной, — обращалась она к нему и не укасалась тому, что говорит. — Будь со мной! Будь со мной! Я любила тебя. Я всегда любила тебя. Навсегда любила тебя.

Она устала от рыданий и, чтобы охладить лицо, долго принималась им к холодной траве, там, где прошел ветер. Ветра больше не было. Стояла тишина.

Немного придя в себя, Ксана села, огляделась, сказала шепотом:

— Вот я тебя похоронила...

Страшная боль жгла ее сердце — так теперь будет всегда, всю жизнь. Никогда не станет ясно на душе. Его больше нет, нигде нет, совсем нет.

Топот коней нарушил тишину. Ксана подняла голову, нашла глазами свою лошадь — она стояла на меже, тоже прислушивалась и вглядывалась в темноту.

Ксана астала, поймала повод. Двое ехали верхом по меже, направляясь прямо сюда, к Ксане. Тот, кто был впереди, подехал совсем близко.

Ксана увидела: это Шура Берман. За ним — ординарец.

— Это вы, Ксана? — удивленно спросил он.

— Я, — тихо ответила Ксана.

— Что вы здесь делаете?

Ксана молчит.

— Чья лошадь?

Ксана молчит.

— Кто вам дал лошадей?

Ксана молчит.

— Вы знаете, есть приказ: лошадьми могут пользоваться только определенные лица. Лошадей не хватает для кавалерии.

Ксана молчит.

— Кто вам ее дал?

— Возьмите ее, если она вам нужна, — отвечает Ксана и бросает ему повод.

Ординарец подбегает повод. Ксана поворачивается и отходит к соснам.

Шура соскакивает с лошади.

— Вы хотите здесь остаться?

— Да.

— Одна? Ночью? Это опасно. Садитесь, поведем

— Я не поведу.

Он стоит в нерешительности, не знает, что предпринять.

— Вам нельзя здесь оставаться. Поведем, Ксана. Садитесь.

Он подводит лошадей к Ксане.

— Пожалуйста, уезжайте, — говорит Ксана.

— Что с вами? — тихо бурчит Шура, он стесняется ординарца. А может быть, его гнетет сознание, что он, комиссар дивизии, вынужден стоять здесь, придерживая стремя, и просить артистку сесть на коня, которого он только что отнял.

— Пожалуйста, уезжайте, — повторяет Ксана и садится на землю у подножия сосны.

Шура снова отдает повод ординарцу и делает знак рукой. Тот отъезжает и уводит лошадей Ксаны.

Шура медлит.

— Идите, — как можно мягче говорит он, но сердится. — Вы меня ставите в какое-то дурацкое положение. Я ведь обязан взять у вас лошадь. Пойдете вместе пешком. Я провожу вас.

Ксана некоторое время молчит.

— Если бы вы знали, как я хочу сейчас быть одной!

Шура смотрит на часы.

— Слушайте, — говорит он, повышая голос. — Одинадцать часов. Патруль вас задержит. Вышлите Ксана? — Он подходит близко. — Ну что с вами?

— Я очень прошу вас, — тихо говорит Ксана, — уйдите.

Шура уходит, ведя своего коня на поводу. Так он и идет пешком, сначала медленно, потом убыстряет шаг. Неожиданно он оборачивается, смотрит в сторону Ксаны, но тут же решительно и быстро шагает дальше.

Ксана обходит всю купу деревьев. На минуту присаживается у того места, где пробжал ветерок, снова гладит траву, слушает, уже без слез, с печалью и усталостью, с залупшими глазами. На миг прижимается лицом и губами к земле.

— Я с тобою, — шепчет она. — Я всегда буду с тобою. — И подымается. Стоит, глубоко вздыхает, расправляет плечи.

«Может быть, я это выдумала? И он жив!» Но это звучит кощунственно и глупо. Всеми нервами, порами тела, сердцем, кровью, глазами и мозгом, всем ощущением жизни она знает: его нет.

И вот она на меже. Идет ровным шагом, уже ни о чем не думая. Она плохо видит. Темно, и глаза устали от слез. Она шагает, и ей кажется, что каждый шаг отдается эхом. Она слышит свой шаг и отзвук его. Не секунду ее мысль задерживается на этом. Какое может быть эхо! Земля мягкая. Ксана останавливается. А это отдается. Раз, другой — и замерло. Значит, не эхо. Ксана оглядывается. Совсем темно. Она опять шагает и шагает. И снова отдается эхо. И ей это в конце концов безразлично. Ей совсем безразлично.

Вот и село. Она идет по уллице. Теперь ей отчетли-



во слышно: кто-то идет сзади. Она не оглядывается. Ей и не хочется знать, кто это.

— Может быть, Шуря.

У самого двора она оборачивается и видит Алешу. Это уже когда-то было. Она уехала верхом, он ждал ее. Это было? Или приснилось? Или снится сейчас?

Алеша не глядит на нее, идет, сутулясь, курит.

— Алеша,— говорит Ксана мертвым голосом,— у меня Берман отнял лошадей.

— Я знаю,— спокойно отвечает Алеша.— Я встретил и ординарца с лошадыю и его, когда шел к вам, в поле.

— У вас будут неприятности?

— Плевал я на них. В первом бою добудем лошадей.

— Вы шли ко мне?

— Да. Я вас встретил на меже. Вы не видели?

— Нет,— говорит Ксана и молчит, задумавшись. И, забыв попрощаться, входит в дом.

ТОВАРИЩ ШУРА

Таллое утреннее солнце слепит глаза. Пока Надя стягивает у крыльца простыни, Ксана сидит на задке старой телеги без колес и смотрит, как хозяйка хаты обмазывает глиной с навозом старый серишко. Кругом разорение, чужие люди — солдаты — то и дело останавливаются и живут в ее хате; не спрашивая, лезут в печь за пустыми щами, заглядывают в погреб, скармливают последние охапки сена и соломы своим лошадям, грязнят всюду, а она стоит и усердно мажет сарай.

Маленькое стеклышко вместе с глиной прилепилось к стенке сарая, и перламутровый блеск его под лучом солнца прорывается сквозь глину и навоз. Тяжелое бездумье свалило Ксану; сидит и смотрит на стеклышко, но быстрые руки крестьянки, не старую макитру с золой, что стоит у крыльца.

— Ксана! — зовет Надя. — Поди попробуй молочка достать. Во-он в том дворе как будто корова есть. Давно молока не пили. Пойди, а? О-о! — весело вскрикивает она. — И гостя напоили бы! Смотри, кто к нам идет!

В калитке стоит Шура, стройный, прямой, в черной рубашке, подпоясанной кавказским пояском с серебристыми насечками, и в кубанке, несмотря на тепловое утро. Он здоровается с Надией, подходит к Ксане. Та поднимает на него глаза, вдрызг потерявшие свой синий цвет, бледные глаза с подпухшими веками.

— Ксана, вчера все нехорошо вышло. У вас что-то случилось, да?

Ксана молча кивает головой.

— Я не знал. Я потом понял. Что же, Ксана?

Она молчит. Он еще раз задает ей вопрос.

— Шура, я не могу об этом.

— Но все-таки... Почему ты не хочешь сказать? Может, помочь надо?..

— Нет... Чем помочь?

Она машинально достает из кармана письмо Меры и тут же прячет его.

— Письмо? Из дому? Что там?

Ксана молчит, опустив голову. Лицо ее становится серым, как пыль на дороге. Тяжело, но решительно она встает с телеги, выпрямляется.

— Убит один человек... — говорит она сухо и твердо.

— На фронте?

— Да.

— Кто он тебе, этот человек?

Она не отвечает, они долго стоят молча.

— Насчет лошади... Я это должен был сделать, — говорит он тихо и точно. — Ты сама тоже бы так поступила. Это приказ по армии.

— Да. Возможно... Вероятно, так, — после паузы отвечает Ксана.

— И я ведь не знал, что у тебя...

На стеклышко, амезенное с глиной в стену сарая, падает солнце, и оно сверкает, как хрусталь. Шура машинально подходит к сараю и трогает стеклышко.

— Знаешь, Шура, — тихо говорит Ксана, — больше не будем об этом. Я совершенно не могу... Не могу. Я о другом хочу с тобой. Я в партию вступила.

Ей надо сейчас быть сильной. Надо думать о деловом, об общем. Только не о своем. Не давать душе метаться и болеть.

— Я знаю, Ксана.

— Я хотела спросить тебя, Шура... Как ты думаешь, что я еще должна делать? Как член партии. А то я все по-прежнему живу.

Мгновенная улыбка на миг освещает его лицо, но тут же оно снова становится серьезным, даже сумрачным.

— Все, что нужно и что можешь. Сверх этого ничего.

Ее брови кривятся.

— Зачем эта шутка?

— Нет, я говорю серьезно... Слушай, я так смотрю: коммунист — тот, кто считает себя ответственным за все, что мы делаем. А в тебе это чувство есть, — говорит он вдруг громко и резко. — И ты готова драться, если видишь, что делается что-то не так. Правильно я говорю?

— Да, может быть... Вероятно...

— И ты готова делать все, что потребует от тебя Советская власть? Да?

— Да... — говорит она. — Конечно. — И, подумав, добавляет: — Но есть такое... Я хочу быть артисткой. А ты мне скажешь...

— А тебе скажут: иди, перевязывай раненых!

— Ну, это — другое дело, это я всегда... — волнуясь, отвечает Ксана.

— Таких дел может быть много, — медленно, с каким-то скрытым значением говорит Шура.

— Так это потому, что война, — полубожьяется, полуспрашивает Ксана.

— Конечно! Советской власти нужны и артистки, — улыбается он. — Но ведь кто знает, что нас еще ждет... Война! И даже когда она кончится, ты не должна ограничиваться сценой. Надо много читать...

— Да, я люблю. Я всегда много читаю...

— Надо прочитать книги Маркса. Это трудно. Но очень интересно. И Ленина. Я вот был в одном кружке... К нам приходил большевик, он был в партии еще до революции...

Ксана сразу вспоминает девушку, которая укоряла ее в том, что она пошла в Красную Армию. Та девушка считала себя выше и благороднее, а по сути, была безразличной к тому, какая власть победит, лишь бы она сама могла учиться и хорошо жить. Ксана рассказывает об этом Шура.

Он внимательно слушает ее.

Из дому выбегает Надя — не дождалась, пока Ксана пойдет за молоком. Она машет кувшином Ксане и Шура и скрывается за калиткой.

— Машане. Помоги от них ждать не приходится, — резко говорит Шура. — Они безразличные... Может быть, постепенно привыкнут, поймут. Но... я других боюсь...

— Да? — вопросительно смотрит на него Ксана. Шура медлит.

— Понимаешь, я с тобой говорю как товарищ. Обо всем надо думать. Нам, коммунистам. Но не успеваешь. Сама знаешь, Боя. Иногда двое-трое суток с коня не слезаешь. А жизнь не ждет, пока война кончится, ставит вопросы. Я довольно много читал. Маркса, Ленина, Плеханова. В том нашем кружке. Там были замечательные умные ребята... Но, конечно, всего, что надо, не успел. И порой пытаешься сам разобраться в каких-то обстоятельствах. Я лично о многом задумываюсь. Вот, например, надо, чтобы в партию принимали только людей идеально чистых. Понимаешь, как это важно? Я опасюсь тех, кто идет в партию, чтобы стать у власти. А власть человека, который не имеет твердых убеждений, опасна для революции. Тебе это понятно?

Ксана только сейчас замечает, что они перешли не втык. Но она отбрасывает эту мысль. Ей хочется



ответить Шура. Она мысленно перебирает всех коммунистов, которых знает: Рабичев, Духанова, Адоньев, Шура, комиссары полков, бригад, где она бывала, — нет, это все настоящие, честные люди, готовые все сделать для революции. Они, не задумываясь, пожертвуют собой, если нужно. Отдадут жизнь за дружки своих.

Топот копыт, громкие голоса прерывают разговор. По улице в облаках белой пыли проезжает группа конных. Они едут шагом, чубатые, иные с серьгой в ухе, с длинными пиками, с саблями в ножнах. У кого-то блестит старинная секира. Передний казак через плечо перекинул — нет, не зная, церковную хоругвь с золотой Бахромой. На конях бархатные, коверные попоны, к седлам приторочены мешки со скарбом, гармоны, новые сапоги.

Шура и Ксана подходят к изгороди, вглядываются. Да что это! На одном казаке зеленая бархатная кацавейка, рукава буфами. Женская кацавейка. А этот в священническом облачении, оно распростерлось за его плечами, как плащ, и покрывает круп коня. Солнце сквозит пылью играет на золотой ризе.

Шура вышел за калитку.

— Какая часть? — строго спросил.

— Такая часть — не лезь волку в пасть!

Гогот, озорные выкрики покрыли ответ остряка.

Шура промолчал. Лицо его побелело, глаза стали острыми, узкими, они неотрывно следили за проезжавшими. Он как бы изучал их, каждого в отдельности.

Проехали казаны.

За ними пара рослых лошадей тащила подводу. Высокая подвода, много на ней всякого добра, чемоданов, сундучков. Вся эта рухлядь покрыта ковром. На передней части подводы шатерки. Лежит на ковре женщина в цветном платье, голова в шатре — от солнца укрыта. Небрежно раскинула голые белые ноги. Привязанная цепочкой к шатру, прыгает на ковре маленькая полинявшая обезьянка.

Развалился, сидит на краю подводы возница, на одном ухе держится круглая фуражка-бескозырка с красным околышем.

Уж не перисдикую ли княжину везет он атаману? Что ж кавалеристы, эта казачья вольтинка, не гогочут, не ропщут, не стыдятся атамана, не требуют, чтоб кинул ее в небезважную волну? Эх, песня, где твоя правда!

— Махновцы, сволочи! — выругался Шура.

— Почему махновцы? — удивилась Ксана.

— Да были у Махно, теперь у нас. Вольтинца.

Анархисты-бандюги.

Он озабоченно посмотрел вслед удаляющемуся отряду.

— Пойду выясню, где стоять будут. Изолировать надо от наших бойцов. И рассредоточить.

Шура пошел было, но задержался.

— Рабичев проведет несколько бесед или докладов для политработников на политические темы. По-старайся послушать. Если, конечно, ваши маршруты совпадут. Рабичев здорово знает, как складывалась партия. Тебе это будет интересно. Вот это мне хотелось тебе посоветовать...

— Спасибо, — сказала Ксана. — Между прочим, у этой княжны с обезьянкой я обязательно отняла бы лошадей.

Он чуть приопустил верхние веки, не то соглашаясь, не то обдумывая, как это сделать; поправил кобуру и быстро вышел на улицу. Проходя мимо Ксаны уже с той стороны плетня, он проговорил, как бы между прочим:

— Если тебе что-нибудь будет нужно...

— Нет, ничего.

Ксана повернулась к заскрипевшей калитке, ослепительно сверкнуло стеклышко на стене.

— Видала? — спросила, входя, Надя и показала пустым кувшином в ту сторону, куда уехали конные. — Небось, грабят такие... Пошли, Ксана, в дом. Поедим чего-нибудь. Да надо собраться. Мы с тобой сегодня квартирьерами отправляемся. У нас почти час еще в распоряжении. Давай картошку на таганке сварим. Котелок почистим.

Надя говорила, занимала Ксану мелкими делами и заботами, заставляла ее что-то делать, но ни словом не упоминала о том, о чем они проговорили всю ночь, обливаясь слезами, читая и перечитывая письмо Миры и толкуя каждое его слово.

ГЛАВА XXI

ТРОЕ НЕСЧАСТНЫХ

Красные войска продвигались вперед с поразительной быстротой. Артисты никак не могли поспеть за передовыми частями. Старались доставать больше лошадей, усаживались на подводы, и тогда обоз мчался почти вскачь. Но чаще лошадей едва хватало под имущество трупы, люди пешком шли по сорок — пятьдесят вест в сутки.

Дни стояли жаркие. Казалось, солнце расплавляло воздух, и он то тек струйками вниз, то бил вверх тонкими фонтанами.

Пыльные, усталые, с распухшими ногами, добравшись артисты до ночевки. Иногда попадали в деревню, только утром отбитую у поляков.

Какая же была радость вечером снять сапоги, смуть с себя пыль, забраться на сеновал и вытнаться на охалке сена или свежескошенной травы, чуть покрытой крестьянским рядом! До одури пахнет трава, пахнет смола, которую солнце вытплавляет из бревен дома; хочешь не хочешь, заснешь блаженным сном, и такое хорошее приснится, что оторваться от сновидений нет сил.

Белая луна повисла над Дрявой крышей сеновала. Велик сеновал, почти все артисты улеглись в ряд, один подле другого — сначала женщины, потом мужчины. Посредине лежит Адоньев, комиссар.

Спите, спите, усталые артисты, кочующие по военным дорогам, набирайтесь сил для завтрашнего похода. Может, спектакль придется сыграть, будут вас слушать и потом благодарно улыбаться утомленные мужские и мальчишеские лица за растреванные сердца, за добрые мысли. Отдыхайте хорошенько, артисты!

Нет, кто-то не спит, тихо ворочается, чтоб не разбудить соседа, чиркает загнивающей, покуривает в кулак, несмотря на запрет, и все смотрит и смотрит на кусочек луны, повисшей над дрявовой крышей.

С дальнего конца сеновала приподнимается чья-то голова, вдыхает воздух, шепчет:

— Кто ж это закурил? Ты, Ксана? Не урони только огонь, осторожно.

— Ладно,— откланяется Ксана.— Это кто? Ты, Маруся?

— Ага. И мне охота покурить. Махра далеко?
— Лови, я брошу. И бумага в кисте... Поймала?
— Спасибо, есть.

С двух сторон плывут над спящими клубы дыма.

— Осторожно, не урони огонь,— теперь говорит Ксана.

— Не урони,— шепчет Маруся.
Покурили. Погасили «бычки». Тихо.

Летняя ночь коротка. Люди просыпаются рано под нестройные звуки деревни — петушиный крик, визг щенка, скрип журавля у колодца, грохот ведер; прыгают вниз с сеновала, поливая друг друга на руки, умываются.

Ксана идет вялая, невыспавшаяся.

— Ты ночью курила? — спрашивает Надя, когда они уже снова шагают по дорожной пыли.

— Курила.

— Знаешь, Ксюта, надо что-то изменить. Ты хачешь на глазах, ходишь, как неживая. Я знаю, боль твоя долгая, может, на всю жизнь. А перед тобой сцена, театр. Ты душу свою не умертвляй, душа театру нужна. Перебороть себя надо. Жить, а не умереть. Ты ведь сильная... Кругом горь. Сколько убийств! Василису вспомни. Это же страшно, когда человек заживо помирает. И Николай бы осудил тебя.

Иду, молчат.

— Мне очень неприятно, Ксана, но я тебя еще огорчу. Я уехать должна.

Ксана останавливается.

— Сейчас?

— Сейчас. Муж телеграмму прислал. Болен. Он меня уже давно все зовет, а теперь болеет, после тифа никак не оправится. Ему плохо, я должна ехать.

В Подиве я уже сказала. Ты не печалься. Пока прищартаюсь к Марусе Емельяновой, я с ней поговорю.

— Пыль какая! — тяжело задыхалась Ксана, свернула на обочину дороги.— У меня в голове пыль. С ума я сойду.

— Вот что! — Надя свернула за ней, резко остановилась.— Разве Николай хотел бы тебя видеть такой?

Ксана смотрела широко открытыми глазами на Надю.

— Я с тобой всерьез говорю. Боль свою при себе носи, непоказ не выставляй.

— Напоказ? — ахнула Ксана.— Я никому и не рассказываю. Ты же знаешь...

— Знаю. И носи ее в сердце. А живи, как все. Понимаешь меня? Придет время, полюбишь кого-нибудь...

— Никогда! Не смей этого говорить! Ты не можешь понять...

— Полюбишь, Ксана. Я тебя уже знаю. Ты горячая душа. Полюбишь! Но не так. Он всегда будет с тобой. Всю жизнь. Вот увидишь. И живи так, как он хотел бы. Как вы хотели вместе. Ведь говорили об этом. Как жить? К чему стремиться?

— Да! Да! — резко сказала Ксана и заплакала.

— Ну так вот. А я уеду, как только смогу. Подойдем поближе к железной дороге, я тихо учу, без прощаний. Не люблю прощаний. Да ведь я вернусь. Я и вещи все тебе оставлю. Но понимаешь, дело вот в чем. Я еще Яна увидать хочу. Где он сейчас, не знаю. Как услышу, так сначала туда и брошусь. Мне необходимо его увидеть. Об этом не хочу совсем болтать. Ну, да ладно! В общем, Ксана, я вернусь. Я с тоски подохну без вас всех, без тебя. Дочки-то у меня нету...

Ксана обняла Надю, прильнула к ее плечу.

— А мне как будет без тебя! И как трупца будет, не представляю.

— Ну, так держись молодцом, Ксана. Я тебя еще должна на сцене увидеть, на настоящей сцене, в хорошем театре.

Они поглядели вслед обозу, далеким пятнышком рисовался он на дороге.

— Ну, бегом!

И они помчались, то обгоняя друг друга, то отставая, громко дыша, и крича, и толая, и вспенная воздух, как воду.

Вскоре Надя исчезла. Так тихо и незаметно, что некоторые артисты узнали о ее отъезде только через несколько дней.

Все такая же ясная держится погода, все так же широко поля, душит воздух и красивые закаты. И по-прежнему мчится трупца след за боевыми частями дивизии, то догонит, то отстанет, съедется с Политотделом, и снова на привале короткий митинг-концерт — и снова вперед.

Только холоднее и суровее стало на душе у Ксаны. Вот она, все такая же, коротко остриженная девочка, в солдатской гимнастерке, брюках и сапогах, шагает впереди обоза одна или с товарищами. Вот в своем синем пальтишке читает бойцам стихи, вот бежит рано утром к реке или к колодцу, чтобы кое-что постирать, помыться, принести воды в хату. А вот где-нибудь у клуни сидит с хозяйкой хаты и рассказывает ее о крестьянском горестном житье, о влестях, что сменялись здесь одна за другой, и сама объясняет, за что воюет Красная Армия и какая будет жизнь дальше. Она, если строго сказать, этого толком не знает, только в одном твердо уверена: самая справедливая, без обид для человека, без обмана и с разными благами для всех.

А еще Ксана часто где-нибудь в сторонке сидит со своей тетрадкой, пишет и черкает, пишет и черкает.

...На лугу будто большой табор раскинулся. Много

войска подъехало к вечеру, всем в деревне не разместиться. Костры, повозки, орудия. Стрелковые кони громко жуют траву. Люди сдят кучками у костров, кашеварят, ужинают, бродят по лугу, лежат на траве и смотрят в небо.

Маруся Емельянова нашла Ксану на краю луга, у пригорка.

— Ты что в темноте пишешь? Письмо?

— Нет. Так.

— А чего же ты удалилась? Хожу ишу тебя.

Они пробираются среди кочевья, обходя спящих, мирно беседующих или занятых делом людей, перекидываются словами.

— Там наши большой костер сложили. Сейчас давай ужин приготовим. У тебя есть что-нибудь?

— Хлеб есть. Сахар. А больше, кажется, ничего нет. Не знаю.

— Эх, ты! Привыкла, чтоб о тебе заболитись? Теперь придется самой о себе думать.

Ксана молчит.

— Что, загрустила без Нади?

— Да,— коротко отвечает Ксана.

— Ничего. Это скоро пройдет. Надо все сносить терпеливо...

Ксана не отвечает. Ей кажется, что Маруся говорит какие-то угловатые слова, они ложатся между людьми кривыми неровностями, острыми, шероховатыми изломами, неутоят от них человеку.

— Ты еще не знаешь, что такое в жизни одиночество.

В тоне Маруси сквозит загадочность. Она имеет в виду что-то свое, тайное, никому не известное. Но Ксане не хочется расспрашивать, душа ее переполнена своей большой болью. Она, эта боль, сложена там, как огромная каменная гора,— чужое принять некуда.

— Ты еще не знаешь жизни, тебе ведь совсем мало лет,— философствует Маруся.

Ксана начинает хитрить, она далеко обходит людей, повозки, костры, так они с Марусей то разъединяются, то сходятся; говорить на расстоянии, урывками трудно.

Наконец они у своего костра.

Ксана ставит на угли котелок. Маруся приносит свой котелок и ставит рядом.

— Разве нам не хватит кипятку?— удивляется Ксана.

— А я не знала, что ты и для меня поставила.

— И для тебя, конечно, и для всех, кому надо,— говорит Ксана.

Она садится, обняв колени руками, и смотрит в костер.

Недалеко маячит высокая фигура Скворцова, он кружит около костра, издает наблюдения, как Маруся и Ксана наливают и пьют кипяток. Кто-то из артистов предлагает ему кружку, он принимает ее и стая тоже пьет.

На ночь Маруся и Ксана решают устроиться на подвое. Расстлала одеяло, Маруся говорит:

— Видишь, я разделила подвое на две равные половины. Беру одеяло и вымеряю, сколько раз его надо сложить, чтобы точно покрыть только свою половину, не захватя на твою.

Нет, шутки нет в ее голосе. Речь серьезная, довольно громкая и излишне выразительная, как на сцене.

Ксана немного терпится.

— Хорошо,— бормочет она.— Я постараюсь тоже так делать.

— Это она говорит, чтоб прекратить разговор, ей очень неприятно слушать поучения Маруси, ей кажется, что Маруся делает все неумело, нерасторопно. Надя никогда не говорила ничего о своем умении, но руки ее летали быстро, незаметно, как бы между прочим делали свое дело, а говорила она в это время совсем о другом, о чем-то приятном, добром. Вот так же всегда делала мать Ксаны. У нее тоже быстрые, легкие руки. И она тоже не ставила себя в пример и не поучала.

Пока Маруся стелет, Ксана идет отыскивать Клаву Понсет, Дусю.

Да как же они славно устроились! Расстелили на земле театральные ковры, покрывала и улеглись рядом — большая часть артистов. Им всем весело, они дурачатся, смеются, встречают Ксану добрыми шутками. Ксане тоже вдруг становится легко, тяжесть на сердце оборачивается горем Снегурочки.

— Чу! Смеются...— говорит она, стоя над ними, — а я стою и чуть не плачу с горя.— Голос ее взволнованно дрожит, все вокруг умоляют и смотрят на нее.— Прав пригожий Лель, беги туда, где любят, ищи любви, ее ты стоишь... А сердце Снегурочки, холодное для всех, и для тебя любовью не забытсся!..»

И, замолчав, садится у их ног на ковер.

— Ну что же, дальше, дальше! — кричат ей.

— Как хорошо ты это прочитала! — тихо и торжественно говорит ей Клава.

— Давай к нам! — зовут ее.— Ксана, иди к нам!

Даже старик Романов улыбается.

— Надо бы поставить «Снегурочку», хоть один акт,— говорит он.— Леля только нет.

— Да, Леля нет! — Это голос Скворцова.

Он стоит позади Ксаны. Ксана сразу спохватывается — надо идти укладываться.

Алексей Степанович идет вместе с ней и как-то придерживает шаг, Ксане приходится идти медленнее.

— А вы уже с Марусей устроились? — спрашивает он Ксану.

— Да.

— Знаете, Ксана,— после небольшого молчания говорит он,— вы, наверно, понимаете, какие у меня сложные отношения сейчас с Марусей.

Ксана почти останавливается от удивления. Нет, она не замечала их отношений. Собственно, она просто об это никогда не думала. Если разобраться, конечно, странно, что она не подумала. Ведь вот уже несколько дней, как уехала Надя, и она, Ксана, вместе с Марусей устранивается на ночлег, вместе ходит за пайком к походной кухне. А Скворцов присоединился к Ирамскому и Дусе. «Ах, как я невнимательна к людям!» — укоряет себя Ксана.

Ее молчание Скворцов понимает по-своему.

— Об этом очень трудно говорить. Вы, верно, осуждаете меня, но вы многого не знаете. Да, я виноват. Но, понимаете, я не в состоянии все объяснить. Я только хочу одного, чтоб она простила меня. Я же люблю ее.

— Боже мой! — вырывается у Ксаны. Только сейчас ее озаряет догадка. Это он! Оказывается, это он! Зоя, бедная, глупая Зоя! Да, но и бедная Маруся!

— Я вас прошу об одном. Вы теперь часто с ней вместе. Может быть, она с вами будет говорить об этом. Помогите мне. Я не могу расстаться с ней.

— Да, конечно, конечно,— бормочет Ксана.— Но как же это? Что я могу? Пусть Маруся сама все обдумает.

НА ЕДИНЕ С СОБОЙ

— Да, но все же я прошу вас,— говорит Скви-
рцов уже удаляющейся Ксане.

А Ксана в смятении бежит к своей подводе. Она не знала, что ответить Сквирцову. Она страшно смущена. Он, взрослый человек, обращается к ней, девочке, с просьбой помочь! Но как она может помочь? Как? Ведь он же сам виноват во всем! Так это, значит, он! Он!

Ксана ничего не может понять. Ей раньше казалась так: глупая Зоя. И подлец он! Тот, кого так назвала Зоя. Но, оказывается, ведь еще есть несчастная Маруся. Она жена его. Как же это могло случиться! Зоя знала, что Маруся его жена. И даже больше. Вот он страдает, он любит Марусю. Зачем же он так поступил! Зоя — дочка против него. Он мог быть ее отцом. Зачем он так гадко поступил! Не любя ее! Любя другую, свою жену. Так гадко поступил с обеими! И теперь просит ее, Ксану, помочь? Он просит. Он страдает. Он любит ее, Марусю. Значит, и он несчастный! Какая страшная, мучительная для всех троих история! Все несчастные. И больше всех Зоя. Потому что она любила, и пострадала не только она сама, Зоя. Но убита ее любовь. Так гадко убита!

Ксана подходит к подводе. Маруся лежит с открытыми глазами, молчит, думает о чем-то. Вот именно об этом думает. Несчастная Маруся!

Ксана стелет себе постель рядом с ней, уже не чувствуя и ней той иронической раздражительности, которую ощущала всего полчаса назад. Но разговаривать с ней сейчас о чем-нибудь она боится. Она просто еще слишком поражена. Она не разобралась во всем. Она хочет одна все продумать.

И Ксана ложится, повернувшись спиной к Марусе.
— Я люблю спать на левом боку,— объясняет она.— Тебе удобно?

— Да. Мне кажется, мы точно попалим разделить подводу,— замечает Маруся.

Ксана тихоноко усмехается. Бог с ней, пусть себе текает этими мелочами, этой ерундой. Но как же она, как же она несчастливее!

Вокруг все стихло. Только спутанные кони жуют и топчут, перепрыгивая с места на место и звеня постромками. Люди спят.

Ксана лежит и думает: неужели это тоже любовь? Значит, бывает и такая, недобрая, несчастная и нечистая любовь? «Бедная, бедная Зоя!» — в который уже раз повторяет она про себя.

А рядом смотрит на звезды Маруся и шумно вздыхает. «Бедная Маруся!» — думает Ксана.— И в столько времени не догадывалась, что ей так плохо». Как же, как же это могло случиться!

...Ксана устала от дум, постепенно она начинает засыпать. Словоз дрему ей слышится чьи-то шаги. Боже, да ведь это Сквирцов! Он ходит и ходит вокруг, обдумывая, как примирится с Марусей.

«Несчастный Алексей Степанович! — засыпая думает Ксана.— Несчастный, сделавший несчастными троих».

Нет, ей не хочется с этими мыслями уходить в сон. Есть в этой истории то, что отвращает Ксану, что-то темное, неприглядное. Она не хочет сейчас больше думать об этом, она захлопывает свою душу для мысли о трех несчастных.

И погружается в свое, в мир своего горя, своей любви, своего будущего, своего искусства.

И странно: словно исчезает шум и грохот, который стоял до сих пор в ушах,— она только сейчас, когда он прекратился, поняла, что он был,— вокруг стало тихо, мягко и нежно. И с:а уснула.

3 а высокой белой стеной парк. Ровные аллеи, мостики через рвы, огромные дубы с замаскированными глиной ранами, кусты берез на полянках, темно-зеленые, и серебристые, и дымчатые елки — царство тишины. Слово нет уже войны, нет обзоров на дорогах с фронту, нет вызывающего ознб треска пулеметов, нет раненых...

Каждый день, если не надо было выезжать со спектаклем, Ксана приходила в парк. Она надевала свое синенькое платье — ей казалось, в этот парк невозможно придти в брюках и сапогах — и бродила одна, подолгу стояла и слушала, как шумят высокие верхушки дубов и грабов, как шуршит под ногами трава. Ей представлялось, что все это она уже когда-то видела, что давным-давно здесь жила, бегала по тропкам, босиком переходила ручеек, который протекал через грот, выложенный из камней.

Ей нравилось здесь, она сливалась с этим парком и становилась как бы частью великого покоя и тишины, где все события представляли перед ней в асном, очищенном от всего случайного виде, где она могла разговаривать с собой откровенно, строго и требовательно и обдумывать все, что отложилось до этой минуты. Она много думала о Николае, вспоминала их встречи, разговоры. Невозможно было представить, что он умер, — таким живым возникал он в памяти. Даже не нужно было закрывать глаза, чтобы ясно-ясно увидеть его черные прямые блестящие волосы, его лицо с розовато-смуглым румянцем, сухие теплые руки и странный хрустальный перстень с печаткой, который он носил. Она слышала его голос, слова, которые он любил, и все, что он говорил о будущем, о своих несбывшихся планах... Она думала о нем как о живом; иногда вспоминала что-то забавное и тихоноко смеялась. Помимо сознания, у нее возникало ощущение, что вот они встретятся и она расскажет ему все, что здесь приходило ей в голову, когда она бродила одна.

Но очень страшно было среди разных дел, на репетиции, на спектакле вдруг неожиданно вспомнить: его нет. Каждый раз болезненно сжималось сердце, словно она только сейчас узнала об этом.

Недавно Ксана получила письмо от матери.

«...Милая, дорогая дочка,— писала мать,— мы все живы и здоровы, тяжело переболели тифами, голодали. Сейчас легче. Была Мира, спрашивала, нет ли писем от тебя. Еще раз приходила мать Коли. Бедная женщина, это ее единственный сын! Уже скоро год, как о нем ничего не известно. Приезжай скорей, Ксютка, мы очень беспокоимся за тебя...»

Ксана не заплакала. Она ведь уже знала, что его нет. Ей только очень трудно было теперь с людьми — рассказывать о Николае она не хотела, а говорить о чем-то другом не могла. Этот парк в Ушомире был ее спасением.

Маруся сердилась:

— Ну куда ты убегаешь одна? Пойдем вместе. Или тебя кто-нибудь ждет?

Ксана улыбалась.

— Да, ждет.

Несколько раз пытался поговорить с ней Сквирцов, он как бы случайно встречался ей у парка, — отношения с Марусей у него не налаживались, он искал помощи у Ксаны, видимо, надеясь на дружеские откровенные разговоры двух актрис между собой. Но

таких откровенных разговоров не происходило, да Ксана и не хотела бы выслушивать историю отношений людей, в общем далеких ей. Она уклонялась от разговоров с Алексеем Степановичем и пряталась от него среди густых елок. Лицом к лицу она встретила вас? — удивилась Ксана.

— Я тоже часто гуляю здесь, — сказал он.

— Почему же я не встретила вас? — удивилась Ксана.

— Мне казалось, что вы любите быть одна.

— Да, я люблю этот парк. Мне здесь так хорошо, что иногда кажется, будто война уже кончилась давным-давно...

— Хотите, Ксана, я познакомлю вас с моими друзьями в этом парке? — спросил Аляша.

— С друзьями! — протянула Ксана.

— Вот, — улыбнулся он, — хочу представить вам этого подгулявшего паренька, он почти готов пуститься в пляс. — И Аляша остановился перед молодым серебристым тополком, как-то забавно изогнувшимся в сторону.

— А вот выход принцессы с ее свитой.

И действительно, за красивой серебристой елкой таялись пары невысоких елочек, нижние ветви их, широко разросшиеся, лежали на траве, как шлейфы.

— Теперь поглядите, как бегут молодые крестьянки-березы от страшного карлика. Обратите внимание на его всклокоченные волосы и бороду.

Ксана еще не видела такого дерева: оно росло корнями вверх, и, если оглядеть все сразу, здесь рисовалась целая немая сцена, представление, которое давала сама природа.

Они постояли, полюбовались.

— Вы придумываете для меня сказки, как для маленькой, — сказала Ксана.

Аляша резко повернулся к ней.

— Скажите, Ксана, чего вы ждете от жизни! Как вы хотите жить дальше, после войны!

— Не знаю. Сцена — вот все.

— Я хочу вас спросить о вашем, личном. Не сердитесь. Вы кого-нибудь любите?

Они долго шли молча.

Аляша остановился, заглянул ей в лицо.

— Ну не надо, не надо, не говорите. У вас сейчас такие глаза...

Аляша сорвал еловую шишку, куда-то нацелился, швырнул. Стал рассказывать всякие пустяки.

У выхода зашел в штаб, попрощался.

Ксана пошла домой по пыльной намощенной улице, мимо белых украинских хат, мимо потемневших



от времени и непогоды дощатых домов, похожих на голые рундуки, торчащие на площади, где некогда был базар. Из этих домов выходили сейчас чернорабочие, семеноводы, рыжебородые старики евреи в черных шапочках и длинных черных пальто. Рядом с ними, немного позади, шли мальчишки и несли в сумках священные книги.

Из всех домов старики выходили в одно время и направлялись в молитвенный дом. И казалось, что по улице идет процессия.

Ксана постояла, посмотрела на приоткрывшийся край чужой жизни.

— Чи николи не бачили, як люди до своей церкви ходять? — спросила молодая украинка, колошавшаяся у белой хаты, возле которой Ксана остановилась.

— Нет, не видала, — ответила Ксана.

— То-то я бачу, що вам в ньому... А мы уж туточки родились, то и привыкли. Мы по-своему, они по-своему. Як кому бог положил.

Наступали сумерки. Труппа давала концерт. Ксана предстояла вместе с Неломияцим сыграть сценку из пьесы «За народное дело». Жандарм допрашивает арестованную революционерку. Она произносит

речь о свободе, осуждает монархия, полицейский произвол. «...Вы не заставьте меня смириться! Наши души уже разбужены зовом свободы. Ваше царство насилия рухнет. Все ваши законы, тюрьмы, ссылки не смогут задушить революцию...»

Ее удивляло, что публика внимательно слушает. И аплодирует. И все говорят, что Ксана хорошо играет, но она-то знает, что играет плохо. Просто скверно. Безобразно играет. Она не верит, что революционерка может на допросе говорить такие речи. Да если здраво подумать, кому она это говорит? Жандарму? Зачем? Нет, Ксана не любила эту сцену. У нее всегда оставалось чувство, что она фальшивила и лгала зрителям.

Лучше бы она вышла и прочла:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут...

Она смотрела бы через головы зрителей в эту прекрасную ночь, на звезды и рассказывала бы о них. И о странной, трагической любви Марии. О страстях человеческих. О вечных горестях. И люди бы плакали...

Как ей хочется сыграть сильную роль! У них нет пьес. И достать негде.

Марино Стюарт — вот кого она сыграет, конечно, не сейчас, нет, а когда выучится и станет настоящей актрисой. Марино Стюарт! Или еще она сыграла бы Катерину в «Грозе», да, Катерину обязательно. А нервно, есть еще пьесы, где выведена роль сильная, трагическая, роль героини Жанны д'Арк. Или лучше Софьи Перовской, да, да, вот что, революционерки настоящей, готовой жертвовать собой ради великого дела. Живая роль! Без этих пустых и звонких монологов, где нет правды. Пусть лучше она будет сдержанной, строгой, но настоящей, правдивой. Неужели никто не написал пьесы о Ветровой, этой девушке-революционерке, которая сожгла себя в камере Петропавловской крепости? Она не вынесла позора истязаний и насилия.

Уж тут не может быть никакой декламации. Здесь каждое слово должно считаться гневом и кровью. Такая пьеса должна быть! Может быть, Ксана сама напишет ее!.. Напишет, обязательно напишет... «О гордыня, — думает Ксана о себе, — о чем загадывает!»

Она счастливо смеется и прикидывает лицом к грязной кулисе.

Кто-то сильно толкает ее в плечо. Дуся!

— Тебе выходить, Ксана! Ты что? Уже объявили.

Вздригнув, Ксана оглядывается. Видит удивленное лицо Сворцова, возмущенное — Романова, испуганное — Клары Понсет и выходит на сцену.

Она стоит перед жандармом. Он предлагает ей прекратить революционную деятельность, тогда он отпустит ее, дочь богатых родителей.

— Нет, — говорит она, — вы не заставьте меня смириться. Наши души уже разбужены зовом свободы. Ваше царство насилия рухнет...

Публика — красноarmeицы и местные жители — аплодирует ей.

Но она выбегает во дворик, ни на кого не глядя, и мечется, не зная, куда приткнуться. Тихий Коля Поторгуев сворачивает ей самокрутку, осторожно, боясь просыпать махорку, подает ей, чтобы она лизнула и заклеила.

— Ксана, скорей на выход, — говорит, выглядывая в дверь, Сворцов. — Читайте на бис «Товарищ». Слышите, как хлопают!

— Не буду, не пойду, не пойду, — нервно отвечает Ксана.

— Как это — не пойду? Вас вызывают, — как всегда сдержанно, говорит Сворцов.

— Ну что ты, Ксана, — тихо уговаривает ее Коля Поторгуев, — раз нужно, значит, нужно.

— Вы же хорошо сыграли, — удивляется Сорочкин. — Идите скорей!

— Что вы уговариваете? Маленькая, что ли? — брызжет гневом старик Петр Михайлович. — Вот она, молодежь! Никакой дисциплины, никакой ответственности!.. В наше время бы!..

Ксана поворачивается ко всем спиной и резко, сердито бросает:

— Не пойду, не буду; не! буду! — И выбегает в темную улочку.

Пока старик Романов, красный от волнения, выходит на сцену и читает «Злоумышленника», Ксана мчится по улице, словно за ней гонятся, выбегает на дорогу. Рядом тянется ржаное поле. При свете месяца золотятся колосья. Она сбавляет шаг и идет, подставляя лицо ночному ветру. Узкая стежка ведет к невысокому зеленому пригорку, что возвышается среди желтой ржи. Ксана идет по стежке, колосья цепляются за ее платье и шуршат, как бумага. Она садится на пригорок, освещенный луной, и двумя руками держит сердце, которое хочет выпрыгнуть. «Нет, нет, — говорит она, — нет!»

Кругом тихо. Ровно и спокойно дышит земля.

ГЛАВА XXIII

С ЧИСТОЙ ДУШОЙ

А деревня, где остановились артисты, лежала вдоль самой дороги. Здесь проходили войска вперед к фронту, здесь провозили раненых в тыл. В деревне было голодно: частью съедено армией, частью припрятано крестьянами.

Артисты получили приказ дожидаться в этой деревне Политотдела дивизии. Он должен был появиться в ближайшем один-два дня. А меж тем продовольствие кончалось, паек получить было негде, в деревне на постое войска было мало.

Ксана вызвалась пойти в ближайшее село за какой-нибудь снадью. Шла поем. На узких полосах зрела пшеница. То здесь, то там лежала незасеяная земля. Видно, не хватало семян, не хватало пахарей. На этой незасеянной земле зеленела трава, сквозь нее проросло прошлогоднее осипавшее зерно. Высокие редкие колосья покочались на ветру, будто издали кланялись друг другу.

По пути Ксана повстречалась пленным. Они шли расстроенными рядами, неторопливыми, вольным шагом. Их хмурые молодые лица казались посыпанными пылью, но одежка была опрятной, словно только сегодня их обмундировали. Четыре красноarmeица конвоировали группу человек в двадцать.

Ксана стала на обочине, рассматривала пленных, она их видела впервые. А те, проходя мимо, поворачивались лицом к девушке в военном, но глядели куда-то поверх ее головы, в даль, будто увидели что-то за ее спиной, и быстро крестились по-католически, слева направо.

Ксана обернулась. Далеко в поле стоял высокий крест. Его очертания резко выделялись на фоне светлого, почти белого неба. Зачем он здесь, в поле? Кто молился ему? Кто плакал у его подножия?



Жутко было смотреть на этот крест, возвышавшийся над безлюдными, оскудевшими полями.

Ксана заметила, что польские солдаты тоже смотрят на это поле с жалостью и печалью людей, которые с детства привыкли выращивать хлеб. Да они ничем, кроме одежды, и не отличались от красноармейцев, которые еще недавно были деревенскими парнями. И жили эти жолнежи на такой же земле, только чуть подальше к западу. А возможно, это были фабричные, которым так же знаком была трудная и несаящая жизнь, как и русским рабочим хлопцам.

И было удивительно: как же это случилось, что эти люди оказались на той стороне, что не скинули до сих пор своих панов-помещиков, панов-купцов, а покорно пошли воевать против своих братьев-трудяг? За что, за кого воевать? За этих панов?

— Господи, да за что же вы воюете! — вырвалось у Ксаны.

Несколько пленных остановились. А один с худым высокомерным лицом и рукой, перевязанной бинтом, сквозь который просочилась яркая кровь, шагнул в сторону Ксаны и резко сказал незнакомыми словами:

— А ніщо тутэй панічка? Бжидко! Дётско ёщи!

— Проходи, проходи! — крикнул конвоир и перерезал: — Нацо паненка!.. А сами женский батальон выставили под Варшавой!.. Ну, торопис, торопис! Живой! — скомандовал он, сердясь, натужно краснея и размахивая винтовкой.

Пленные прошли мимо, поднятая пыль засветилась на солнце. Ксана проводила их взглядом. Двое молоденьких парнишек-поляков, похожих, словно братья, оглянулись — глубокая тоска была в их строго вычерченных лицах.

Ксана пошла вперед, и уже видневшемуся селу, и почему-то долго с печалью несла в своей памяти лица пленных юношей.

В селе она зашла в одну, другую хату — всюду

отказывались продать красноармейке хлеба или картофеля.

— Тай ничего немає,— сухо отвечали ей и захлопывали дверь. Другие оглядывали девочку в красноармейском — винтовка за спиной не было,— бросали оскорбительно:

— Проходьте мимо, бог подаст.

— Я же не прошу даром,— волновалась Ксана,— я купить хочу.

Накануне в это село ходил Толя Дмитриев, и хотя он чертыхался, что здесь все проданы мировой буржуазии, все-таки принес фунта два пшена и курлицу.

— Ну, куда ты идешь! — дразнил он сегодня Ксану.— Хоть винтовку мою возьми или обрез свой, что ли? Нашли, снажут, кого послать. Дитяго посылают.

— Ну да,— возмущалась Ксана,— что я, реквизировать собираюсь, что ли?

И сейчас она шла по широкой, заросшей травой улице села, уже не заходя в хаты, сердито поглядывая вокруг. Красноармейцев встретилось ей мало, очевидно, здесь стояла небольшая воинская часть.

«Наверно, и правда тут одни кулаки стоят, свиные хрюкают. Жалко им, что ли? Ну и не надо, черт с ними. Не первый раз голодать!»

Она уже прошла деревню из конца в конец и была рада выйти на луг, чтобы не видеть этих недобрых хат с закрытыми окнами, из которых, наверное, следят за ней чужие, злые глаза. Только стыдно было перед своими, перед Марусей, которая будто смеется, что вот она, Ксана, ничего не умеет, что ее избаловала Надя, которая все делала сама.

«Ну и пускай, ну и пускай!» — мысленно отвечала ей Ксана.— Пусть сама попробует!»

У одной из крайних хат Ксана увидела пожилую женщину, она уже вошла в ялентку, но, заметив Ксану, приостановилась, повернула к ней голову.

Ксана осмелела, подошла к ней.

— Не продадите ли чего съестного? — спросила.
— Нема! — тихо сказала женщина и покачала головой. — Правда, нема. Здесь не все богато живут.

Ксана повернулась, отошла.

— Стойте минутку, — вдруг позвала женщина и скрылась во дворе.

Скоро она вышла и вынесла несколько яиц в марлевом платочке.

— Да возьмите с хусточкой, как же нести-то? — предложила она, видя, что Ксане не во что положить этот пяток яиц.

Ксана вынула кошелек.

— Да что вы, бог с вами. Какие же тут деньги? Своя курочка снесла. Возьмите, возьмите, — уговаривала она Ксану. — Кабы что еще было, с охотой дала бы. Как глянула на вас, думала, хлопчик...

Что-то в этих словах тронуло Ксану, ей не показались обидным отказ от денег. Она взглянула в лицо женщине, и сердце ее сжалось. Вот такие же светлые, заплаканные глаза были у ее матери, когда отец сидел в тюрьме у белых. И не только глаза. Эти бледные виски и щеки, этот ожидающий, тревожный взгляд — все напоминало мать. Ксана почти задохнулась от внезапно нахлынувших и оживших чувств.

— А я обернулась, показалось — хлопчик... — глядя поверх головы Ксаны, куда-то в далеков небо, сказала снова женщина. И за этими словами чувствовалась боль, которую трудно высказать.

Ксана молчала. Она боялась спросить, боялась коснуться чего-то неизвестного ей.

— Убили моего хлопчика...

Серые заплаканные глаза глянули на Ксану, веки налились краснотой. Женщина повернулась и быстрым шагом, не оглядываясь, пошла к своей калитке.

Ксана постояла немного, вышла за село, неся в марленке подарок женщины. Она не пошла по лугу, а свернула в сторону, чтобы ее не было видно с улицы, и побежала по-за огородами, за садами, за сараями, радуясь, что здесь пустынно и не встречаются люди. Она задохнулась от бега и села отдохнуть в какой-то ложбинке, осторожно положив на землю яички; обняла руками колени, сидела и качалась из стороны в сторону.

— Убили моего хлопчика... Убили моего хлопчика... — повторяла она по себе.

Багровое небо склонялось вниз где-то недалеко, как будто горизонт был совсем рядом, и по этому небу медленно скользило огненное солнце. Оно то расплывалось в огромное пятно, то дрожало и по каплям срывалось вниз.

Ксана не разбиралась в том, что ее так потрясло, она ни о чем не думала, ее просто охватили странные ощущения: будто это у нее убили хлопчика, не женщина сказала ей об этом, а она, Ксана, сказала. Все переплелось: у этой женщины убили хлопчика, и у другой женщины, которая приходила к ее, Ксанной, матери спрашивать, нет ли писем, тоже убили хлопчика, сына. И у нее, Ксаны, убили дорогого ей человека. Эта чужая женщина с глазами ее матеря сказала самое главное, самое страшное, что случилось и чего уже никогда нельзя изменить. И это крепко связало с нею Ксану, обе они почувствовали это. Ксана была полна благодарности к чужой матери, сочувствия и еще чего-то, что роднило их.

Вечерело. Впереди вправо, очевидно, была река, узкая тропинка вела куда-то вниз, за пологие холмы. Солнце наполовину уже скрылось за этими холмами. Повеяло сырватым воздухом.

Ксана встала и пошла по лугу, ближе к реке: ей захотелось посмотреть, действительно ли там река. На фоне багрового неба отчетливо и ярко выри-

совались две фигуры. Они торопливо шли, одна за другой по тропинке, что вела через холмы вниз, к реке.

Было что-то странное в этом быстром шествии, почти беге, вечером, в пустынном месте.

Ксана ускорила шаг, чтобы подойти поближе. И остановилась в ужасе. Теперь было ясно видно: впереди шел солдат, за ним с револьвером в руке, подгоняя и направляя его прикосновением дула, следовал комиссар бригады Александров. Ксана знала его. Не раз артисты давали спектакль в этой бригаде — не раз Александров беседовал с ними, угощал их ужином. Неожиданно Ксана разглядела впереди еще одного красноармейца, он как бы ожидал приближающихся комиссара и солдата.

— Что это? — проговорила Ксана. — Что это? — Она подошла еще ближе. Теперь ей открылся другой, пологий берег и край реки, будто вылитый из красного стекла. А фигуры красноармейцев и комиссара спустились с холмов вниз, и их не стало видно.

И тут страх овладел Ксаной, и она побежала. Но побежала не к себе, домой, через луг, а назад, в село, где, очевидно, стоял штаб бригады, где можно было найти командира и все ему рассказать.

Вдур до нее донесся короткий и резкий щелчок револьверного выстрела. Он прозвучал в тишине так громко, что Ксане показалось, будто она оглохла.

— Что же это? Что же это? — вскрикнула она и, покрываясь потом, побежала еще быстрее мимо огородов, меж домов, стремлясь попасть на ту широкую улицу, по которой она уже сегодня шла.

Солнце соскользнуло за холмы, и сразу стало темно. В хатах не было видно ни огонька.

Ксана так торопилась и так волновалась, что вместо дыхания у нее вырывались стоны. Она не могла сдержать их, даже когда останавливалась, чтобы спросить у редного прохожего, где стоит штаб. Наконец ей попался красноармеец, который проводил ее до хаты с высоким и узким крыльцом.

Недалеко от крыльца топталось несколько привязанных к тыну, оседланных коней.

На ступеньках сидел молодой человек красноармеец в буденовке, на коленях его лежала винтовка. Могой он небрежно преградил путь Ксане.

— Нет входа! — резким мальчишеским голосом сказал он. — Кто идет и по какому делу?

— Я иду к командиру, — заявила Ксана, — мне нужен командир и нинто больше, — и перелезла через ногу часового.

Тот вскачил и, загоразивая путь винтовкой, стал у двери.

— Да кто ты ешь? — закричал он. — Чего врываетсяшь?

— Я артистка, Ксана Муратова. Вот! Пусты меня. Мне необходимо сейчас же. — Дверь отворилась, кто-то вышел из темноты и буркнул что-то часовому. Потом взял за плечи Ксану и ввел ее в хату.

На прилечке горела лучина, скудно освещая сидевших в хате людей. Было душно, накурено. Ксана не могла разглядеть лиц, но видела, что их много, и поворачивалась то туда, то сюда, чтоб найти командира.

— Как попали сюда? Случилось что, Ксана? — услышала она знакомый голос и тотчас увидела комиссара. Он сидел на лавке, дымил папиросом, в руке его блеснули, легко позванивая, янтарные четки.

— Всегда рад вас видеть. Но мы сейчас не ждали гостей. Случилось что? — снова спросил он ошеломленную множеством незнакомых лиц Ксану.

— Да, — торопливо проговорила Ксана. — Случилось ужасное. Комиссар застрелил красноармейца. Наступила тишина, светились огоньки цигарок, но

никто не кашлял, не кряхтел, не вздыхал. Трещала лучина.

— У вас там яички? — кивнул головой командир. — Не разбились бы. Положите лучше на стол.

Ксана только сейчас вспомнила, что держит в руке яйца в марлевом платочке. Как это глупо, что она пришла с ними! И как они уцелели!

— Да вы садьте, за вами табуретка, — снова мягко обратился к ней командир. — Так вот дело какое, товарищ артистка... Всюкую сволочку, которая позорит нашу Красную Армию, мы расстреливали и будем расстреливать, — грозно прозвучал его голос. — Наша армия борется за святое дело, за революцию. А грабить население, грабить крестьян может только бродяга, которому не дорога Советская власть. Так белая поступали! — Он почти выкрикнул последние слова.

— Да, — выдохнула Ксана. — Белые грабили, это я знаю.

Дверь открылась, и вошел Александров. Обходя сидящих, он молча прошел за печь, в угол, задернутый ситцевой занавеской, стянул сапоги и бросил их на пол. Потом лег на лежанку, вытянулся и закурил.

— Ну и все! — спокойно и мягко проговорил комбриг, оглядывая всех присутствующих. — Приказ правильный, и впредь так будем поступать. А вы, товарищ Ксана, разъясните всем — и вашим и особенно крестьянам, — чтоб знали. Мы воюем за справедливую нашу Советскую власть. Грабителей среди нас быть не должно. И если кто обижает население, пусть приходит и говорит нам. Чтобы не расплодилось у нас всякая погань.

— Да, да. Я понимаю.

Ксана встала. Ей было стыдно, что она прервала совещание, что не подумала сама, прежде чем прийти сюда. И все же не жалела, что пришла.

— Извините, — сказала она. — Это очень страшно, когда расстреливают человека. И я подумала, что может быть, этот человек, который, ну... грабил или что-то там еще... может быть, он опомнится и уже никогда в жизни не поступал бы так, если б знал, что расстреляют.

— Д-да! — раздумчиво проговорил комбриг. — Цацкаться-то нам некогда. Нам воевать надо. Всем объявлено, все знают. Вот... И вы можете со сцены тоже поагитировать. Чтоб люди жили чисто. Я хочу сказать, с чистой душой.

— До свидания, — сказала Ксана. Она была пошла к двери, теперь уже хорошо различая людей, но кто-то остановил ее и подал узелок с яйцами.

— Забыли ваш ужин! — И рассмеялся. Она с досадой взяла марлевый узелок и вышла.

— Ксана, Ксана! — крикнул комбриг ей вслед.

Она услышала, но не захотела возвращаться.

На дворе было совсем темно. Где-то звонко лаiali собачки. Ксана постояла, раздумывая, в какую сторону направиться. Было неприятно и страшно идти через луг.

Ксана медленно пошла по улице, не представляя себе, как же она доберется в темноте. Ее дотнал хлопья, что стоял на часах у хаты, когда она пришла.

— Эй, товарищ артистка! Приказано вас доставить домой. Вы как, верхом обучены?

— Конечно!

Она подождала, пока он подвел чью-то оседланную лошадь и помог ей взобраться в седло. Сам он смирно ехал позади и посястиывал.

— Нашли за кого заступались, — вдруг сказал он своим резким мальчишеским голосом. — Вы по селу-то не ходили? А вы зайдите в какую ни есть хату. Вам расскажут. Ведь их-то за Красную Армию при-

няли. Бандюгов этих. А они тут понатаворили. Сволочи! Гады!

— А я за них не заступалась, — оправдывалась, проговорила Ксана. — Я узнать пришла.

Хлопец опять засмеялся.

— Их что, много было, грабителей? — спросила Ксана.

— Да уж было! Люди-то первый раз Красную Армию встретили. И решили, небось, такая вот она, Красная Армия. А нам-то позор этот как теперь из-быть? — Он придвинул свою лошадь, ехал рядом и, чуть наклонившись к Ксане, зашептал: — А, видите, как комиссар пришел, да как швырнул сапоги, да зажигалку чирк-чирк, задымил да лег! Не просто это — и бандюгов стреляли! Их за своих считали! «Товарищи», — говорили им. «Товарищи!» — повторил он несколько раз, словно вслушивался в это слово.

— Я тут женщину одну хорошую встретила. Сына у нее убил. Хлопчика. Молоденького.

— Да, матеря теперь плачут... — отозвался проза-жатым деловито и сухо.

— Матеря плачут, — повторила за ним Ксана, стес-няясь произнести это слово правильно, — и жены плачут и невесты.

— Ну, эти-то утешатся, — пренебрежительно отве-тил паренек.

Ксана замолчала.

Ночь была тихая, темная и, несмотря на кажущий-ся покой, тревожная. Что-то таилось в ней; недоб-рая, грешная жизнь недругов, хищников копоши-лась рядом, готовая мять, и давить, и разрушать все, что создавалось революционной властью.

Сидели в хате, тесно сплотившись, люди с добры-ми мыслями, курили, размышляли, решали строго чистоту, не допустить, чтоб грязные руки касались лютяночной звезды.

Из окон неотрывно смотрели в ночную темень не-спящие выплаканные глаза матери.

ГЛАВА XXIV

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Вот какое нарядное золотистое платье на Ксане! Его только что принесла портниха. Ксана наде-ла и стояла перед зеркалом, поворачиваясь ту-да и сюда, что-то разглагольвала, читала обрывки ка-ких-то ролей, стихов. Хорошо, что нет Маруси: ее вызвал Скворцов, и они ходят по улицам и объясня-ются. А Ксана одна в этом маленьком номере го-стиницы. Она еще никогда не жила в гостинице, и ей здесь нравилось.

Как интересно все произошло! Не успели они войти в этот милый городок Ковель, как Адоньев принес ей сверток. Принес и предложил немедленно заказать себе платье.

— А то в вашем синем не выпустим больше на сцену. Наши артистки должны быть одеты что надо! Ксана развернула сверток и ахнула:

— Какой золотистый шелк!

И вот на ней это платье. Ее сшили в два дня. «Как принцесса», — вспомнила она слова портнихи. Нико-гда еще у нее не было такого наряда. Совсем как у настоящей артистки. В этом платье она сыграет... Нечего ей сыграть в этом платье! Идут репетиции чеховской «Свадьбы», там она исполняет крохотную рольку невесты, у нее всего-то две реплики: «Они хотят свою образованность показать и навсегда го-

ворят о непонятном» и «Мамаша, что же вы плачете? Я так счастлива!». Если концерт будет, вот тогда она прочитает...

Кто-то постучал в дверь.

Ксана открыла и увидела Желтовского.

— Григорий Иванович! — весело удивилась она. — Вы здесь?

Он никогда еще не заходил к артистам и казался Ксане таким солидным и значительным, что пригласить его запросто было невозможно.

— Ну Ксана, — укоризненно сказал он. — Сидит одна, а к нам не идет. Да какая нарядная! Куда-нибудь собирается? Нет? Так идемте к нам. Алеша там совсем сошел с ума.

— Что такое?

— Идемте, по дороге расскажу. — У него лунаво блестели глаза, он показался Ксане в этот раз особенно красивым, ловким и молодым.

На улицах горели фонари. Был теплый летний вечер, откуда-то пахло лавочками и мажнолой. Ксана ощущала на себе свое нарядное платье и, вероятно, поэтому, а может быть, и потому, что так ласков и внимателен был Желтовский, все вокруг ей казалось добрым и необыкновенно прекрасным. Ей было хорошо. Давно ей не было так хорошо. Они болтали о пустяках и смеялись, сами не зная отчего.

Из открытого окна донеслась музыка. Кто-то играл на рояле грибоудский вальс. Всего несколько дней, как в город пришли красные войска, здесь впервые устанавливалась революционная власть Советов, и значит, здесь радовались этому, если так спокойно и уверенно, несмотря на военную обстановку, звучал этот поэтический, полный детского очарования вальс.

Желтовский остановил Ксану в светлом круге фонаря и, продолжая держать ее под руку, как бы приглашал послушать. Они стояли молча, чуть улыбаясь друг другу или самим себе.

Музыка кончилась.

— Знаете, Ксана, — неожиданно сказал Желтовский, все еще не двигаясь с места, — мы с Алешей поссорились из-за вас. Сегодня только приехали, узнали, что вы здесь, и поссорились. Я его посылал и взм, вижу, страдает ведь, ходит сам не свой, он не пошел. И знаете, ведь он вас ко мне ревнует.

— Какие глупости! — поморщилась Ксана. — Ну что за чулуха?

— Глупости? — серьезно переспросила Григорий Иванович. — Нет, Ксана, нет! Вы совсем ребенок... А если у него были основания? Подождите, подождите, не говорите ничего. — Он крепко сжал ее руку и, глядя ей близко в глаза, медленно проговорил: — Он сказал не о вас, обо мне, но я хотел бы, чтобы это было и о вас. Ксана! Милая девочка... Разве вы действительно этого не замечаете? — Он на мгновение приблизил к ней лицо, и то ли ветер, то ли его дыхание коснулось ее губ, она не поняла и крикнула:

— Нет! Нет!

— Ну, конечно, нет! — сразу согласился Желтовский, чуть улыбаясь и удерживая ее руку. — Я знал, что нет. И действительно, как все это глупо... Улыбаться под самым фонарем! — Он засмеялся, лубкавые бесы гладыли из его глаз.

— Григорий Иванович, — очень стараясь быть сдержанной и уминой, серьезно сказала Ксана, — я очень люблю вас. И очень люблю Алешу. И очень хотела бы всегда быть с вами и с ним в хороших, дружеских отношениях.

Он смотрел на нее чуть исподлобья, улыбаясь и качал головой. Потом он наконец вывел Ксану из фонарного светлого круга, и они пошли по улочке, ведущей в гору.

— Мне кажется, я давно, до встречи с вами, только сквал о вас...

— Я лучше пойду домой, Григорий Иванович... — Ксана высободила руку.

— Нет! — мягко, но уверенно ответил Желтовский. — Я приведу вас к этому... чудачку Алеше. Он лежит весь день на кровати, смотрит в окно и курит. Утром он встретил Марусю и просил передать, что ждет вас к обеду. Вам не передать! А ведь он обиделся. — Некоторое время Желтовский молчал. — Меня он возненавидел сегодня... Ксана, нечестно! У нас был мужской разговор. Я ему сказал: «Любишь, так не уплети еще. А ему, видите, кажется, что он для вас... то есть, ему кажется, что я этому причиной. Я просто кричал на него... Он снова сделал паузу и тихо произнес: — Я ведь вдвое старше вас, Ксана... Он вздохнул и засмеялся. — И если б я не любил его, как сына — он ведь редкий, чистый человек, — если б я не любил его... по-другому бы все было! Ну вот мы и дома.

— А вы самоуверенный человек, — шутиливо сказала Ксана, немного обижаясь и желая рассеять неловкость.

Он вззоли на застекленную террасу. Тускло горела керосиновая лампа. Ксана села на стул у небольшого столика и тут же увидела дверь в комнату и рядом темное окно, выходящее на террасу.

— Вот он там лежит за окном. И видит нас. И бог его знает, что он думает, — шагая по террасе, говорил Желтовский и похлопывал себя по салогам откуда-то взвизывая стеклом.

Ксана смущенно молчала. Она не могла почему-то поднять на него глаз, хотя он долго молча стоял возле нее. Потом он взял с табурета, стоящего в углу, бутылку вина, стаканы и поставил на стол. Налил три стакана.

— Ну вот вы видите, этот чудачек не идет. Смотрит на нас и не идет... Он подал ей стакан и заглянул в глаза. Ксана испуганно отшатнулась. Григорий Иванович засмеялся, черти снова заиграли, заляпали в его глаза.

— Пусть ревнует! Давайте выпьем! За наши мечты. Чтоб исполнились! Хотя бы после войны.

— Он разом выпил вино, на секунду как бы нечаянно приник лицом к ее плечу и тотчас же отошел.

Ксана пригубила вино и поставила стакан.

— Не бойтесь меня, — шутиливо прошептал Желтовский. — Я хочу счастья Алешке. А я... так ведь еще воевать и воевать! Что с нами будет, не ясно! — Это он сказал как-то наотмашь, с неизменной веселостью. Зашел в темный коридор, взял гитару и тут же вернулся.

Ксана молча наблюдала, как Желтовский поставил одну ногу на стул, настроил гитару и, не меняя позы, негромко запел:

Утро туманное, утро седое,
Низки печальные, снегом покрытые...

Ксана отвернулась к столу, оперлась головой на руки. Слова тургеневского романа, хотя в них не было ничего особенно близкого ей, а может быть, самый голос Желтовского, его манера петь или настрение музыки вдруг взволновали ее глубоко, до слез. Ей было приятно и мучительно слушать ление Григория Ивановича. Оно поднимало в ее душе бурю чувств — и печаль, и нежность, и тоску о чем-то, и боль о страшной потере... Она не могла сдержать подступающие слезы, постаралась незаметно вытереть глаза. Душа ее была переполнена чем-то для нее значительным, невысказанным, она сама не понимала, что это, но в этом смятинии была и радость и мечта о счастье. «Еще воевать и воевать! Что с нами будет, не ясно», — звучало в ушах.

Она думала о нем, о Желтовском, об Алеше и любила их всей душой, и это не противоречило всему ее духу, потому что главной все же была ее любовь к Николаю, и он как бы присутствовал здесь и тихо глядел ее рукой по волосам, утешая и успокаивая ее.

Война! Трудное время. Походы, походы. Театр, митинги. Ранены. Крестьяне. Все это картинками проносилось перед глазами Ксаны. И она остро ощущала, что ей все это дорого, она готова переносить всякие лишения, трудности, опасности ради этой своей жизни. И люди здесь все как родные. Она любила их. И удивительно — она любила красоту, которая открывалась ей здесь, на фронте. Землю, ее цветение, ее жизнь; небо, всегда другое, неповторяющееся, и воздух, и ночи, и зноги, и пыльные жаркие дни. И главное — люди, люди, люди. Все разные, и о каждом можно думать долго-долго и узнавать в них неизвестное. Она любила смотреть в лица бойцов, когда они шли колоннами по дорогам к фронту. Плохо одетые, плохо вооруженные, усталые, молодые и пожилые, иногда веселые, удалые, часто хмурые, измученные, серые от пыли, и все вместе — сила, такая великая сила, что замило в горле от восторга. А эти терпеливые раненые, глядя на которых хотелось взять на себя их муки. И эти грубоватые и хитроватые, и мудрые и добрые, и чистые, как роса, и даже злые — люди в беседах у костров. Что за сила в них! А пламя костров? Ночевки на лугах, в хатах... А одинокие песни на подводах, и боевые на марше, и лихие и тоскливые на стоянках! И вот эти старые романсы. Что в них? Что во всей этой жизни так волнует душу?

Выхожу один я на дорогу:
Синевз туман хремистый путь блеснит...

Из дверей быстрыми шагами вышел Алеша, поклонился и направился к выходу. Желтовский обернулся, поглядывая ему вслед.

Ксана вдруг опомнилась. Что же это она сидит здесь и мечтает, и раздумывает неизвестно о чем, а Алеша прошел мимо, словно не к нему она пришла.

— Пойдите, Григорий Иванович, — встала она, — проведите меня немножко. Спасибо за песни. Я совсем забылась, слушаю их. Хорошо вы поете! Очень хорошо!

Они вышли на ночные улицы, шли медленно, молчали, как-то нежно и тепло понимая друг друга.

Впереди замаячила фигура Алешки. Ксана оторвалась от Желтовского, догнала Крушенку.

— Что вы, Алеша? Почему с нами не остались? — Она задержала его, пока подошел Желтовский.

— Так, настроение плохое.

— Вы за что-то сердитесь на меня?

— Нет, Ксана. На себя.

— За что же?

— Я не могу говорить об этом. Это очень личное. Они пошли все вместе. Желтовский тихонок что-то насвистывал.

— Им встретился патруль, спросил пароль.

— Хорошо, что я с вами! Совсем забыла узнать, — сказала Ксана.

— Алеша, — спросил Желтовский, — ты дал распоряжение на завтра курсантам?

— Я все сделал, что вы сказали, Григорий Иванович.

Ксана только сейчас заметила, что Желтовский говорит Алеше «ты», а Алеша ему — «вы», «Конечно, Григорий Иванович старше и начальник его, — подумала она. — Он очень любезно и дружески разговаривает с Алешей, а Алеша отвечает ему вежливо и суховатым».

У гостиницы остановились попрощаться.

— А вдруг... — начала Ксана и замолчала. — Я подумала: а вдруг судьба как-то разбросает нас в разные стороны, и мы больше не увидимся никогда?

— Да! — удивленно и громко воскликнул Желтовский. — Представьте, я тоже об этом подумал. — Он взял обе руки Ксаны и поцеловал их. — Помните нас!

— И он крепко и мужественно зашагал по улице. Алеша поклонился, догнал Желтовского.

Ксана вошла в свою маленькую комнату, села у зеркала и долго сидела, подперев голову руками.

Маруся поскрипала к ней. У нее была такая же маленькая комната рядом.

— Ты где была?

Ксана сказала.

— А ты что делала? Почему не пришла? Ты, кстати, не передала мне, что Алеша пригласил нас.

— Да, забыла. Свиорцов все ходит такой несчастный, жалкий. Мы с ним долго разговаривали. Я даже устала. Просто не знаю, что делать.

Ксана внимательно взглянула на нее.

— Простить!

— Простить? — удивилась Маруся. — Как ты это могла сказать? Это никогда нельзя простить. Ты примени это к себе. Ты простила бы?

— Нет, конечно. Думаю, что нет. И зачем?

— Ну вот. А мне советуешь?

— Да ведь это по-разному...

— Платье на тебе замечательное, — похвалила Маруся. — Дал Труппе еще дали много разных материалов, шерсть была великолепно оденут. Ну ложись. Завтра рано вставать.

— Почему рано? — удивилась Ксана.

— Разве я не сказала тебе? Утром выезжаем на фронт. Далеко идут хорошо. Наши уже на Буге.

— Какие пьесы возем?

— «Свадьбу» и «Борьбу за волю». А Жалтовский тоже с вами был? — неожиданно спросила Маруся.

— Да, был.

— Красивый. Даже не то. Особенный какой-то. Очень нравится мне, — задумчиво сказала Маруся. — Если бы окончательно расстался со Свиорцовым, я обязательно влюбилась бы в Желтовского.

Ксана посмотрела на бледное, костистое лицо Маруси с крупными бороздками морщин от носа ко рту.

— А он? Он тоже? — неловко спросила Ксана.

— Ну это зависит от женщины, — многозначительно ответила Маруся. — Женщина может любого мужчину покорить.

— Вот как! — вяло удивилась Ксана и заскучала. «Какой глупый разговор!» — подумала она.

Ей было жаль расплескать что-то, что произошло этим вечером. Она не могла бы точно сказать, что именно ей дорого, но постаралась скорей попрощаться с Марусей и лечь в постель. Лежала без света, смотрела в побледневшую ночь, вспоминая разговоры, свои думы о жизни, слова Алешки и мысленно повторяла мелодию романсы:

Утро туманное, утро серое.
Нивы печальные, снегом покрытые...

ГЛАВА XXV

МОСТ

В полдень артисты остановились отдохнуть в небольшой деревенке. Посреди единственной улицы, у колодца, шел митинг. Небольшая толпа крестьян, стоящих разбросано, кучками и поодиночке, спокойно и молчаливо слушала военных ораторов.

торов. По краям длинных корыт, из которых поят лошадей, сидели несколько красноармейцев.

Подводы трупы, прижимаясь к изгородям, обьехали толпу и стали подавать. Решено было выпрячь лошадей, но не разгружать подводы. Надо было торопиться, чтобы успеть вечером дать спектакль в назначенном месте.

Тотчас же от группы военных, что проводили митинг, кто-то подбежал и, узнав, что приехали артисты, попросил выступить — почитать что-нибудь, разыграть сценку, а может быть, просто побеседовать с крестьянами. Скворцов захватил с собой Сорочкина, баглю отладел остальных артистов, запыленных, в выцветших добела, изношенных гимнастерках и брюках, и, махнув рукой, отправился к колодцу.

Ксана подошла поближе, чтобы послушать митинг, остановилась среди крестьян. Еще подходя, она увидела, что выступает Шура Берман, и с интересом стала слушать.

Шура говорил горячо, сильно, хотя в какие-то секунды его звучный низкий голос окрашивался усталой хрипотцой. Ксана вслушалась, и ей сразу стало интересно. Он говорил о Ленине, о многих большевиках-подпольщиках, всю свою жизнь борющихся с самодержавием. Они не думали о себе, о своих удобствах, о своих талантах, о семьях, но ради общего великого дела скитались по стране, чтобы наладить связь, печатать листовки, раздвигать их рабочим, просвещать, агитировать. Их преследовала охранка, многие годы они провели в тюрьмах... Он говорил о том, что принесет народу Советская власть...

Ксана увлеченно слушала его. Она подумала, что и он сам, совсем молодой комиссар дивизии, — человек незаурядный, сильный и чем-то похож на тех закаленных революционеров в большевистском подполье. Вот на таких опирается революция. Умных, сильных, цельных людей. И Николай был таким... Если он есть, он такой...

Ксана вспомнила, как пристыдила Шуру на площади перед митингом за брань. Сейчас ей показалось это смешным и неловким, хотя в ней по-прежнему жило неподдаемое отвращение к грязным словам и к людям, которые произносят их. Но Шура она давно простила, вернее, забыла это. В нем было что-то большое, настоящее, честное. А эти слова — от темной, невежественной солдатчины. Придет пора — он сам будет вытравлять их из армии, в этом она была уверена.

Митинг закончился. Крестьяне стояли молча, чего-то ждали. Оглядываясь на группу командиров, как бы спрашивая, пора ли ему выступать, вышел вперед Скворцов. Неожиданно, к удивлению Ксаны, он рассказал о трупке: о том, как набирали артистов для фронта, как приходится играть чуть не под обстрелом, в какую обстановку попадали артисты, что приходилось делать... И удивительное всего было то, что крестьяне слушали это с любопытством, улыбались, ахали, бросали какие-то слова.

— Так где же ты артисты? Нехай сюда идут!

— А мы николаи тех артистов не видели...

— Давай их сюда!

Ксана потихоньку вышла из толпы и лицом к лицу встретилась с Шурой.

— Ты очень хорошо говорил! Очень хорошо! — радостно сказала она ему. — Я слушала тебя и о тебе тоже очень хорошо думала. И знаешь, что мне пришло в голову: ведь если бы еще не было революции, ты бы все равно был большевиком, да? — Смешная ты! Конечно! Когда-нибудь я тебе расскажу, какие у нас в Баку были выступления... Я ведь басинек. Но подожди... Как ты? Ничего — отвоетли он сам себе. — Пролетарии, когда я тебя ви-

дел, ты была в очень тяжелом состоянии. Даже больно смотреть было на тебя.

— Да, Шура. Верно.

— Так держись же!.. Вы куда сейчас направляетесь?

— На Буг... — шепнула она. — Как там?

— Ничего. Дело идет к миру, — тоже тихоно сказал он ей. — Надо сейчас крепко держаться... Кто-то окликнул Шуру, и он, махнув рукой Ксане, быстрым шагом отошел.

С митингом, с выступлением Скворцова, Сорочкина, с обедом артисты задержались в деревне и выехали позже, чем предполагали.

Тихий, теплый летний день начинал склоняться к вечеру. Необычайный покой царствовал над полями. Хлеб уже убрали. Над полосками картофеля и свеклы трудилась, нагнувшись, женщины. Желтовато-розовое небо спадало к горизонту оранжево-красным пологом. Давно не было дождей, пуховая пыль лежала на дороге, за проехавшим обозом поднималась кверху пыльным, раскидистым шлейфом; в каждой пылинке золотились солнце.

Не дождавшая еще до места, артисты услышали орудиные выстрелы.

— В стороне, что ли? — прислушался Непомнящий.

— В самом пекле едем, — отозвался Дмитриев.

Маруся и Ксана шли впереди обоза, за ними вышагивал на своих длинных ногах Скворцов.

У самой деревни возницы забеспокоились, стали просить отпустить их по домам.

— Загубим лошадей. Куда премся! Гарью пахнет.

— Да ведь обстрел кончился, — уговаривал их Скворцов. — Надо же вещи довести.

Подходивший Тарасов резко, без церемоний, обогнал возников, приказав ехать дальше.

В густых садах не видно было хат. Ветви свешивались через изгороди на широкую улицу, поросшую по краям рейейником, лопухами, крапивой. Только посреди улицы тянулись извезженные колы. Обоз ноторопливо двигался по ней. Из-за домов, из-за ворот, прячась в листья, осторожно выглядывали люди.

Впереди, как бы заканчивая улицу, завиднелась лужайка. За ней, соединяя два высоких берега, шел мост через бежавшую глубоко внизу речку. Несколько старых дубов росло по левой стороне лужайки. Обоз стал. Появившиеся красноармейцы торопливо начали отводить подводы назад.

— Да вот же улица сворачивает вправо! — закричала Маруся. Она ушла вперед и успела все разглядеть. — Прямо над рекой идет, красота какая!..

Она едва успела договорить, как грохнул снаряд и разорвался прямо на улице, по которой только что проехал обоз.

Возчики с красноармейцами быстро устанавливали подводы под самыми изгородями и заборами, в тени густых ветвей.

— По дворам! По дворам! — закричал артистам какой-то командир, появляясь из ближайшей хаты.

Снова грохнуло близко, загорелся амбар.

— Трехдюймовыми садит! — пробормотал Толя Дмитриев.

Пока Адоньев и Тарасов старались под деревьями укрыть обоз, некоторые подводы заехали во дворы. Ксана и Маруся на всякий случай достали из чемоданов бинты, марлю.

Меж тем начало темнеть. Среди артистов появились посланцы военкома бригады.

— Надо вам срочно уезжать. Будьте наготове. Обстановка неясная. Сейчас установим, какой дорогой вам ехать.

— А той же, как приехали, нельзя? — спросил Адоньев.

— Той уже нельзя, — бросил ему в ответ молодой командир.

С улицы, кто сворачивала направо, полусогнувшись, пробегали цепочкой красноармейцы, плюхнулись в траву и поползли к мосту. И тут же, словно прямо в них нацелился, зашвырнул снаряд и разорвался у самого моста. Страшным, тонким голосом закричал раненый. Ксана бросилась к нему, кто-то бежавший ушиб ей ногу и выбранился. Она упала, но снова поднялась и помчалась туда, где стояли. Раненый корчился и извивался на земле, невозможно было ему помочь; Ксана пыталась оттащить его ближе к улице, к изгородям, он не давался, дергался, его били судороги. Тогда Ксана поволокла другого, раненного в голову, он потерял сознание или умер и был так тяжел, что она падала, и подымалась, и снова падала, таща раненого по земле. Недалеко от кем-то открытой калитки его подхватили Клавя и Дуся. Тихо причитая, они втащили его во двор.

Ксана снова бросилась к мосту, ее резко окликнул Адоньев.

— Вернись сейчас же! Здесь есть санитары. Приказано нам сидеть наготове.

— Не вижу санитаров! — крикнула Ксана сердито, побежала вперед и сразу наткнулась на лежащего человека. Голова его была разбита. Он уже не нуждался в помощи. Но, вся мокрая от усилий и дрожащая от волнения, она все-таки оттащила его чуть в сторону, чтоб не топтали.

Внезапно ударило рядом, все вспыхнуло ярким пламенем, погасло и снова загорелось. Было видно, что горит стог сена. В ослепляющем свете Ксана четко увидела резные дубовые листья.

— Ксана, сюда! — крикнул кто-то таким искаженным голосом, что она не узнала, кто это.

Дуся втащила ее во двор и, почти плача, не стращаясь с нее что-то, не то гладила ее рукой.

— Говорят, дорога, по которой мы ехали, занята, — бормотала она, — мы должны где-то объехать кругом. Сейчас нам скажут. Не уходи. Мы же не сможем тебя искать и ждать. Это приказ, слышишь, приказ! Не смей уходить!

— Нет ли чего напиться? — спросила Ксана. — У меня почему-то полный рот песка.

На некоторое время все стихло. Стало так темно, что ничего нельзя было увидеть в двух шагах. Поодаль горел дом или сарай, на фоне пламени металась черные фигурки людей. Ко двору подъехала телега, нагруженная ранеными. Кто-то отдавал распоряжение Адоньеву:

— Поедте, возьмете в свой обоз, доставите в город.

Маруся вынырнула из темноты.

— А знаете, — сказала она, задыхаясь от смеха, — там на возу спит Непомнящий. Крепко спит, ей-богу, не разбудить.

— Где тебя носит? — закричал ей появившийся Скворцов. — Я бегу, иду по всем дворам.

— Да я раненых укладывала на телегу, много их, не помещаются.

— Там, у моста, кажется, остались еще раненые, — сказала Ксана, — пойдём кто-нибудь со мной, я тащила и все роняла, наверно, разбил человек.

— Никуда больше, нигуда! — решительно заявил Адоньев. — Все на местах! Тарасов, проверь. Я сейчас до штаба дойду. Не расходись! — Он крепко прихлопнул калитку.

— А сколько это времени? — спросила Ксана, глядя на черное небо в серебряных звездах. — Совсем ночь!

— Два часа, — ответил мужской голос.

— Два! Ночь?

— Нет, дня! — хмыкнул тот же голос.

— А мы же хотели спектакль играть, — вспомнила Ксана. — И как это время так пробежало, не понимаю.

Она села на чурбан для рубки дров. Ноги у нее почему-то сильно дрожали, спина была мокрая. От ночного воздуха ее холодило, и по спине побежала дрожь. Маруся присела тут же, на кучу хвороста.

— Ты, понимаешь, ненужную храбрость тут не разыгрывай, — сказала Маруся. — Бегаешь под огнем, а нам приказано быть на месте. Дисциплины нет у тебя!

— Ладно, — ответила Ксана. И, помолчав, добавила: — Интересно, где сейчас Надя! Обещала вернуться, а ее все нет и нет.

Она встала и, пожевываясь от дрожи, пошла к подводам. Нашла свои вещи, достала обрез. Походила по двору, где собрались артисты, нашла Толю Дмитриева.

— Слушай, — сказала ему тихонько, — посмотри, все ли в порядке.

Толя взял обрез, молча пощелкал затвором, зарядил. Возвращаясь, сказал:

— Лучше не трогай его. Отдаст он, дьявол...

— Ладно, — ответила Ксана. Заснула обрез за пояс и отошла.

Артисты сидели группками, тесно прижавшись друг к другу, ждали распоряжений. Почти никто не взял шинели, надеясь, что будет тепло. Большая часть вещей осталась в городе.

Едва рассвело, началась перестрелка. Поляки подошли близко к мосту, пытались перейти его. С их стороны застрекотал пулемет.

Из штаба кто-то выбежал и, стоя на крыльце, закричал:

— Скажите артистам, пусть немедленно уходят вот по этой дороге направо, по-над рекой! На подводе положить раненых. И с богом! Быстро!

Началась суeta. Раненых несли со всех сторон. Обоз помчался. Артисты бежали за обозом, полагая на чутье возчиков. Те сами находили дорогу.

Ксана задержалась с двумя только что ранеными красноармейцами, их не успели положить на подводы. Они сидели на крыльце штаба, прислонясь к стене, и ждали помощи. Одного все время рвало. Внезапно будто вихрем пронесло от моста группу бойцов. Еще другие, полулежа и прчась за прибрежными кустами, стреляли в наступающего противника, еще стрекотал «максим», а эти уже бежали туда, направо, где скрылись вдаль подводы.

Ксана решила войти в штаб, спросить, как быть с ранеными, но в это время дверь распахнулась, комиссар бригады с револьвером в руке вскочил на стоявшую у крыльца оседланную лошадь и куда-то помчался.

Девушка огляделась. Она увидела Адоньева: он укрылся в тени дома, стрелял из нагана по мосту, перезаряжал револьвер и снова стрелял. Стоя на коленах за забором, целился из винтовки Коля Поторгуев. Немного поодаль, за дубом, прижался Толя Дмитриев. Стали его винтовки высовывался из-за дерева и отскакивал вверх, высовывался и отскакивал вверх...

Ксана выхватила обрез и, не целясь, выстрелила в сторону моста. Ее сильно ударило в плечо, от боли она аскрикнула, рука повисла, и казалось, уже ничего больше нельзя будет делать. Но постепенно боль ослабевала. Ксана встала поудобнее у крыльца штаба и выстрелила еще раз. Ей показалось, что теперь ударило не так больно. Но она с трудом под-

няла обрез: плечо так болело, что она подумала, не ранена ли. Почти не помня себя от боли, она нажала спуск. Обрез так сильно грохнул в плечо, что она застонала и едва не выронила его. Адоньев увидел ее и сердито замахал рукой: «Прочь отсюда! Прочь!» Но она и сама не могла больше стрелять.

Держа обрез под левой рукой, она потихоньку пальцами ощупала плечо — нет, просто ее сильно ушибло — и поплелась по дороге. Впереди, поддерживая друг друга, охая и шатаясь, брели двое раненых, те, что сидели на крыльце. Но разве только они! Здесь шли и бежали раненые и здоровые, мчались конные, тарактели повозки. Узкая дорога над рекой кончалась, люди шагали по огородам, перепрыгивали изгородь, обгоняя друг друга. Дальше расстился луг.

Где-то ударило, и на лугу веером взвилась кверху земляная труха. Еще и еще. Тут и там вздымались столбы земли и дыма. Люди шаркались в стороны, бежали дальше, снова шаркались.

Ксана не могла бежать. То ли от бессонной ночи, то ли от усталости она шла, как в тумане. Рука болела, мучительно хотелось пить. Солнце поднималось все выше, пригревало все сильнее, а спина у Ксаны почему-то мерзла.

Вдруг она переступила через винтовку. Что это? Кто бросил оружие! Ксана подняла винтовку и понесла ее вместе с обрезом. Совсем недалеко перед ней взлетела кверху земля. Пробежавший мимо солдат прямо на глазах, не стыдясь, швырнул наземь винтовку и побегал зигзагами. Она подняла и эту, тащить ей было трудно, она стала окликать пробежавших мимо людей, они не оборачивались. Может быть, в гуле и шуме не слышали!

Ксана едва тащила одной рукой свои находки. Вторая болела так сильно, что Ксана становилось плохо. Наконец она догадалась засунуть обрез за пояс, а одну винтовку надеть на плечо. У другой не было ремня.

Среди пробежавших Ксана искала своих. Где же Толя! Где Адоньев? Ведь не остались же они там! Неприятель, вероятно, уже захватил эту деревню, где артисты провели такую тревожную, бессонную ночь. А может быть, они обогнали ее, а она и не заметила их среди многих других? Но чье это знакомое, обливающееся потом лицо? Человек пробежал, не видя ее. Курчавый затылок, красная шея, мощная, грузная фигура. Шкляр! На бегу он достает из кобуры револьвер. Он стреляет куда-то перед собой. Куда? В кого? Револьвер падает. Он поднимает револьвер, одной рукой неловко засовывает его назад в кобуру и бежит дальше, поддерживая одной рукой другую. Боже ж ты мой! Да он выстрелил себе в руку. Сам выстрелил! Нечаянно, а нарочно. Ксана это отлично видела, хотя ствол винтовки, которую она несет в руках, маячил у нее перед глазами. Нарочно сам прострелил себе руку. Да ведь это Шкляр, тот самый! Мерзавец! Его приняли в партию. В один день с нею. А он прострелил себе руку. Прострелил, чтобы не идти назад, на фронт, чтобы спрятаться в госпитале. Да, боже мой, совсем недавно группа политработников вылезала идти на фронт с оружием в руках! Она смутно это знает. Не придала тогда значения. Это инициатива Шуры, она так слышала. И вот теперь... «Эй, вы!» — кричит Ксана. — Эй, вы, Шкляр, подлый трус!» Но тот убегает, не оглядываясь, словно не слышит, и смеивается с другими людьми. Холодные струйки пота бегут по спине Ксаны. «Эй, вы!» У вас нет совести! — кричит она. — Человек вы или нет? Ведь это ваша страна! Трусы! Подлый, гадкий трус!»



Ксана спешит, ей надо догнать этого страшного человека. Она не впервые застает его в минуту трусости. Но тогда она не поверила себе. Поговорила с Клавой, но и ее убедила, что, видимо, ошиблась. Да, она не поверила самой себе. Она поверила ему, проходивцу, ведь он получил партийный билет. Ксана торопится. Пот заливае ее глаза, кружится почему-то голова. Нет, ей не догнать его. Но она все равно знает, что он сделал!

Впереди стоят люди. Они загородили эту сузившуюся часть луга и стоят тут, встречая бегущих. Они задерживают тех, у кого нет оружия. «Правильно, правильно!» — хочет крикнуть Ксана. — Надо еще задержать того. У него есть оружие, Револьвер».

Стоят твердые, уверенные люди, которые знают, что надо делать. Они пропускают Ксану, принимая у нее винтовки, кто-то хлопает ее по плечу. Они ставят людей направо и налево, одних направо, других налево. Среди группы налево есть несколько солдат, раненых в руку. Без винтовок. И Шкляр здесь. Он показывает свое оружие — револьвер. Винтовки у него не было, он командир. Но его подталкивают к тем, раненным в руку, но очень вежливо подталкивают, так, как он заслужил. И всех их ведут в дом, где определяет, ранен человек на расстоянии неприступлем или он «самострелов». Так их называют — «самострелов». «Самострелов» расстреливают, таких закон.

— Трусы! — дрожа от негодования, бросает Ксана в лицо Шкляру. — Трусы! И вы видели!

Он смотрит на нее сузившимися глазами, его здоровое, румяное лицо сейчас стало зеленоватым, как вода в тинистом пруду.

Ксана проходит вперед, где стоят те твердые, крепкие, уверенные люди. Голова у нее кружится, ноги подкашиваются. Ей кажется, будто она завернула в вату, идет галоп, шагов не слышно и собственного голоса не слышно. Как в кинематографе: люди разевают рты, что-то говорят, но их никто не слышит. Она видит Адоньева, подводами трупы, Толю Дмитрия, кто-то ей улыбается, или это она сама улыбается, и мягко падает в своей ватной одежде.

— Заболела Ксана... — говорит чей-то знакомый



добрый голос. — Пусть спит. Поехали! — И бьет Ксану прикладом по плечу. Бьет и бьет. Хотя она закутана в вату, но плечо болит нестерпимо. Ксана стонет и хочет убежать. Но кто-то снова упикивает ее в мягкую, душную вату, покачивает и бьет по плечу. Ксана вырывается и кричит:

— Не верьте ему, не верьте, отнимите у него партияную карточку!

— Тихо, тихо, тихо... — шепчет кто-то возле нее, и Ксана послушно замолкает.

ГЛАВА XXVI

ПОТЕРИ

Дверь тихонько приотворилась, и в нее просунулась голова — стрелы усов торчали в разные стороны, черные блестящие глаза озирали комнату. Голова зацокала:

— Ц-ц-ц, ай-йй-йй! Баришня больной!

Тотчас же заглянула другая голова. Волосы взлохмаченные, глаза круглые, как пятаки, лицо бритое, только над верхней губой два черных таракана.

— Ай-йй-йй! — Брови взлетели вверх, шея вытянулась. Видно, что на плечах чекмень с газырями.

Головы исчезли, дверь захлопнулась.

Ксана, не поднимаясь с подушки, искоса смотрела на дверь: не появятся ли еще. Нет, головы исчезли. Прикрыла глаза, засмеялась: «Какой же это спектакль, не помню. И кто их играет?» Сквозь дремоту пробивается неясная тревога. Все-таки, что же это за пьеса? Взглядывает на дверь, на ней два кольца, замка нет. Постепенно сознание проясняется: «Да ведь это не спектакль, это я живу здесь, из гостиницы нас в квартиры переселили. Но кто эти люди? И почему дверь открыта?» Она вскакивает с постели, ее шатает из стороны в сторону, добирается до две-

ри. Замка нет. Чем запереть? Или заставить дверь? Пока она раздумывает, ее охватывает озноб. Зуб на зуб не попадает. Чем запереть? На стуле лежит ее белье, чулки. Она берет чулок, просовывает его в кольца и крепко завязывает. Нет, этого недостаточно! Торопясь, она придвигает к двери стол, на стол ставит чемодан. Вот так хорошо! Скорей в постель. Ксана сворачивается в комочек, дрожит, никак не может согреться.

А за стеной спор на непонятном языке, шум, звонят бутылки. «Гейнджеле, гейнджеле», — выдвеляются в споре слова.

«Какой же это спектакль? — снова мелькает в голове Ксаны. — Не помню такого спектакля». Сознание темнеет, тревожные картины быстро проносятся перед ней. Раненые, раненые, надо перевязать их, куда-то отправить, они торопятся, бежит, а кругом рвутся снаряды. Грохот! Крик! Кто же это так страшно кричит!

Ксана вскакивает, садится на кровати, оглядывается, потная, дрожащая. «Боже мой, да ведь это я сама кричу. Что это со мной!»

Уже скоро неделя, как болеет Ксана. Приходят Дуса и Клева, приносят ши, кашу, хотят покормить ее, Ксана отворачивается. Положат компресс на голову, уйдут. Тяжелая болезнь — испанка.

По утрам хозяйка квартиры ставит на табуретку стакан кипятку. На бумажке насыпан сахарный песок. Чайной ложкой нет. Встать бы, поискать ложку, да нет сил. Ксана пьет остывшую воду.

Иногда кто-то заходит, постонит и уйдет. Пришел Смурцов, узнавал, кто живет в смежной комнате; сказалось, ингуши, два брата, из хозяйственной части той же дивизии. Хорошо все же, что у них год отдельный. Сказал, что Маруся в больнице. Тиф.

А за окном дождь. Монотонно стучат капли по жести карниз. Сумерки.

Кто-то долго вытирает ноги за дверью, входит. Стоит у порога.

Ксана поднимает голову.

— Кто там?

— Это я, — говорит Алеша. — Можно? Что с вами, Ксана?

— Алеша! — радуется Ксана и сразу приходит в себя. Сознание становится ясным, даже голова перестает болеть.

Алеша садится возле постели. Ксана рассказывает о себе: вот заболела, но сейчас уже лучше. А Маруся болела тифом.

Алеша смотрит строго, не улыбается.
— Я на минутку. Ухожим сейчас. Только пришли и уходим.

— Подождите. Что у вас? Расскажите, Алеша. Он сидит, опустив голову, долго молчит.

— Убили нашего Григория Ивановича, — наконец говорит он глухим, невыразительным голосом.

— Что? — вскрикивает Ксана.

Алеша молчит, качает головой. Лицо у него серое, усталое.

— Как убили?
— В бою. Меня он усад накануне, нашел какой-то дурацкий предлог. Нет больше нашего Григория Ивановича...

Ксана закрывает руками лицо. Ни дум, ни воспоминаний, ни слов — ничего нет. В душе ледяная пустота. Тяжелеет голова, и вот опять уже все плывет, качается — стены, окно, двери. Потом сверху что-то опускается медленно, тяжело, громоздко, как занавес на сцене.

Мечется Ксана в постели. Душно. Страшно. Еще недавно жил крепкий, мужественный, хороший человек, веселый, умный, лукавый.

— Почему мне так больно? — шепчет Ксана. — Почему так больно?

В памяти возникает его голос: «Утро туманное, утро серое...» Мечется Ксана на постели. Поговорить не с кем, рассказать никому. И слез нет. Только душа разрывается. Хорошо, что она одна. Никто не видит, как ей невыносимо больно.

Кто-то тихо садится возле кровати, берет ее руку. Ксана на секунду замирает. Потом глубоко-глубоко вздыхает: «Я знаю, тебя нет. Но когда кто-то умирает, я опять хороню тебя. С каждой смертью я снова теряю тебя. Ты это понимаешь? Я не вижу тебя. И руки твои нет, это мне показалось. Но я все равно хочу разговаривать с тобой. Как мне плохо, плохо мне без тебя! Я слабая и глупая. Ты думал, я умная, я сильная? Нет, нет, милый, дорогой мой Николенька, я совсем слабая, как я буду жить без тебя? Ты так много значил для меня. Я тебе этого не успела сказать... Я плачу о Григории Ивановиче, но это о тебе я плачу. И когда Монсева вспоминаю, — это тоже о тебе я плачу. Каждый убитый — это ты. Кому это расскажешь? Я знаю, ты говоришь: держись, мужайся! Ты всегда говоришь мне: держись! Человек назначен жить на земле и делать все, что он может лучшего. Ты верил в меня. И я держусь. Но мне невыносимо трудно. Если б был ты! Если б я только знала, что ты есть! Как я буду без тебя?»

Хлопают ставни. Или дверь. Опять шумят беспокойные соседи. Громко говорят, спорят, топчут, передвигают вещи. Стучат. Что им понадобилось ночью? Не надо отвечать. В окне темно. Ни огонька.

Наконец за стеной стихает. Кажется, соседи ушли. На прощание еще забарабанили в дверь.

Ксана тяжело дремлет. Опять ей снится бой. Идут матросы — чубы из-под бескозырок, ворота распахнуты, крест-накрест на груди пулеметные ленты. На боку связка «лимонок»... Сильные, крепкие, уверенные... Бомба! И вот они лежат распростерты!... Снова бомба! Грохот!

Долго-долго стучат. Ксана открывает глаза. Уже светло. Она подымается с постели, отодвигает задвижку на двери, не на той, завязанной чулком, а на другой, через которую приходит хозяйка квартиры. И это действительно она.

— Слушайте, — стараясь быть спокойной, говорит хозяйка, — в городе поляки. По-моему, вам надо уходить. Они уже заняли вокзал...

— Что вы говорите? — вскрикивает Ксана, секунду стоит неподвижно, потом разом срывается с места, вдевает свои босые ноги в сапоги, набрасывает пальто на белье шинель. В карман партийную карточку, тетрадку со стихами.

Надо взять вещи. Надин чемодан. И свой чемодан — тут золотистое платье и все, что для сцены. Остальное — что же делать? — не возьмешь.

С двумя чемоданами, чуть пошатываясь, Ксана выходит из дому. В переулке тихо, ни души. Скворцов бежит ей навстречу.

— Алексей Степанович! — Ксана поставила чемоданы на тротуар. — Поляки в городе.

Скворцов знает. Он растерян.

— Да, ужасно... Маруся в больнице. Я не могу ее бросить. Я останусь. Спешите, Ксана. А я бегу к ней. Не знаю, что будет. Вот дом, где наши живут. Они, наверно, собираются.

Ксана кивнула Скворцову.

— Там у меня много вещей осталось, моих и Нединих. Я одеваю, постель, все... В общем, нужно будет — возьмете.

Она с трудом дотащила чемоданы до дома, который показал ей Скворцов. Вошла в большие темные сени. И задохнулась. Опустилась на какой-то хлам в углу. Выбежала встревоженная Дуса.

— Ксана, ты что?

— Дай водички, — попросила Ксана. — Где остальные?

— Адоньев бегают где-то, ищут транспорт. Да разве уедешь? — Она заплакала. — Так все неожиданно. Весь гардероб трупы на мне. Не унесешь. Мальчишки тоже побежали в Подва просить помощи. А где там Подва, поляки уже в городе.

— Так что же? — с ужасом спросила Ксана. — Остатки? Бемид, Дуса. Хоть пешком. Где Клавва?

— Не знаю... Да пешком разве уйти? Перестреляют нас, как кур.

Ксана выскочила, забыв попрощаться. От резкого движения ей стало худо. Она остановилась, постояла.

Совсем близко затрещал пулемет. И со стороны вокзала тоже послышались выстрелы.

Волоча свои чемоданы, запыхавшаяся, красная, Ксана выбежала на центральную улицу. На крыше ближайшего дома сновали люди, таянули пулемет. Подальше, у вокзала, суета, стрельба. По улице, тарата, промчались подводки, грузовики, посканкали верховые.

Мимо Ксаны мелькнули знакомые лица из Подва, она поглядывала им вслед, они тащили телефонные аппараты, провода, какие-то тюки.

Ксана свернула в переулок. Чемоданы не давали ей идти, она задыхалась, слабела и чуть не падала на каждой рытине.

У одного из домов стояла нагруженная чемоданами, корзинами телега, двое военных покрывали ее ковром. На нее азобралась полная, цветущая женщина в теплом пальто и улеглась на подушки.

Ксана едва дотащилась до телеги.

— Пожалуйста, — сказала она, — возьмите меня с собой. Я больна. Мне очень трудно.

Мужчина, что стоял на телеге спиной к Ксана и

укрывал молодую женщину, вдруг полуобернулся и, выхватив револьвер, крикнул:

— Убирайся к дьяволу, не то...

— Господи, почему же вы так бранитесь? — волнуясь, выговорил Ксана.

— Застрелю к черту! — яростно захрипел военный. Глаза у него были красивые. Ксана показало, что он пьян.

— Ладно, ладно, — миролюбиво сказал другой. — Вещи пусть положит. Сама пешком пойдет.

— Пусть положит, — разрешила и женщина. И почему-то Ксана вспомнилась: телега, женщина под шатерком, жалкая обезьянка...

— Спасибо, хняжня, — сказала Ксана. — Я совсем больная. Но это ничего... Хотя бы вещи. Я за вами пойду...

Женщина промолчала.

— Ну поехали! — закричал военный, вскакивая на ходу и усаживаясь поудобнее.

Другой устроился на месте возницы, и они поехали...

— Постояйте! — позвала Ксана. — Как я найду вас? Кто вы?

Острый присматривающийся глаз женщины мелькнул из подушек, хитрый глаз, совсем как у хняжки с обезьянкой.

— Из военкомата, Макенко, — ответил тот, что грубо бранился, и сильно хлестнул лошадей.

Ксана попробовала было идти следом за телегой, но сразу отстала. Через несколько минут телега свернула куда-то в переулок и скрылась из виду. Девушка нерешительно постояла, затем повернулась и пошла назад и вокзалу. Волосы под фуражкой взмокли, слабость делала ее шаги вялыми, медленными... Но она радовалась уже тому, что освободилась от тяжести. Хотя доверяла к тем, кто взял ее чумоданы, не было. Но теперь некогда было рассуждать. Да ведь она найдет их. Шутка ли, из военкомата. Если только он сказал правду...

Надо было найти хоть кого-либо из своих. Но резкий пулеметный треск напомнил, что раздумывать было не время. Она вышла на главную улицу и сразу увидела немолодого чернорабочего подивца. Того самого, что был на собрании, когда ее принимали в партию. В первую секунду Ксана не могла вспомнить ни его имени, ни фамилии. Бросилась к нему.

— Уходить надо, уходить, — сказал он ей, — топчешься! — И сам быстро зашагал к вокзалу.

— А где подив? — спросила Ксана. — Я никого не могу найти.

— Подив? — удивился он. — Все ушли. Бегите, не медлите. Поздно будет. — Он огляделся по сторонам. — Вот туда, вниз, мимо вокзала, там через луговину можно еще пробраться, только осторожно, с вокзала стреляют.

Какой-то красноармеец, пробегая мимо них, задержался, метнулся назад.

— Пань! — бросил он и скрылся в первой попавшейся калитке.

Ксана ничего не увидела, но побегала было туда, куда показал чернорабочий Давор. Теперь она вспомнила его фамилию. Силы вдруг стали ее оставлять. Ксана прислонилась к дому, протерла глаза — все вокруг потемнело. Постояла немного и медленно пошла дальше.

По улице пробежало несколько солдат, Ксана скользнула по ним взглядом — ей все еще было нехорошо, и она едва шла и вдруг словно проснулась: на солдатах была польская форма. Они, видимо, не обратили внимания на нее. Может быть, потому, что она так медленно шла... Испуг погнало

Ксану вперед, она добежала почти до самого вокзала, свернула направо и стала бегом спускаться по немощеной улице вниз, к лугу. Короткая пулеметная очередь заставила ее прижаться к обрывистому спуску. Потом опять побегала. Снова очередь. Ксана замерла, присела. Совсем близко от нее vzdыбливались маленькие фонтанчики земли, один за другим, быстро-быстро черта прямую дорожку. «Да ведь это по мне стреляют. Здесь больше никого нет», — мелькнуло в голове Ксаны. Впереди кустарник. Только бы добраться туда!

Впервые за всю фронтную жизнь Ксана подумала, что ее могут убить. Здесь, в этом пустынном месте, где нет никого, кроме нее.

«Только добежать бы до кустарника! Не надо меня убивать, не надо!» — молила она какую-то сверхъестественную высшую силу. Больше обращаться было не к кому.

Пулемет замолчал. И она опять побегала, ничего не слыша и не видя, сердце стучало, пот заливал глаза.

Конец кустарник. Она всем телом бросилась в него, раздирая себе руки, и упала, стараясь прислушаться, не стреляют ли. Но ничего не услышала, так громко билась токи крови во всех ее жилах. Она лежала долго, боясь шевельнуться, потом поползла.

Боже, как пустынно было кругом! Как жутко! Она чуть приподнялась, почувствовала, что ее руки и голые колени ободраны, саднят, шинель мокрая. Вокруг лежала болотистая низина, заросшая густым кустарником и острой травой. Вокзала отсюда не было видно.

Ксана астала и пошла, чуть пригибаясь, по обнаружившейся, едва видной колее, сама не зная, куда, остро ощущая страх и свою беспомощность.

Вдруг громко затрещали кусты, и где-то сбоку, невидная Ксане, проехала телега, ломая ветви и скрипя несмазанными колесами.

Ксана замерла. Серый, облачный день здесь, среди кустов, казался сумерками. Ксана услышала, как щелкнул затвор ружья, кто-то готовился стрелять. Она стояла неподвижно, дыхание у нее остановилось.

«Все!» — мелькнула мысль. — Конечно! Секунды летели, тишина стояла в воздухе. И где-то за кустами кто-то тоже отсчитывал секунды. Может быть, наблюдали за ней.

— Ксана! — услышала она негромкий мужской голос. И еще два голоса повторили: — Ксана! — И сразу зашумели, затрещали ветви.

Она увидела Тарасова с винтовкой, и Толю Дмитриева, и еще кого-то, но не могла разглядеть, кто это. Лицо ее заливали струи дождя. Да нет, дождя не было, но что-то заливало ее лицо, она вытирала его рукавом шинели и шла напролом по сучьям, за тем, третьим, кто тащил ее за руку к телеге. Она вытерла наконец лицо и увидела Колю Поторгуева. Тихого, скромного, почти незаметного Колю Поторгуева, который только однажды возвысил голос, когда отказывался принять обратно Зойку в коммуны.

Ее усадили на телегу, прислушались, не идет ли кто.

— Как ты выбралась? — спросил Толя Дмитриев. — Мы забегали за тобой, да ты уже ушла.

Телега двинулась по кочкам, скрипя и раскачиваясь в стороны.

— Только бы это болото миновать... Думаю, что дальше уже наши, — размышлял Тарасов.

Ксана прикорнула на телеге, ей стало холодно, она натянула шинель на ноги.

— Смотри-ка, — хмыкнул Толя, — где это тебя так? — Он потянул полу шинели и показал на две

одинаковые дырки.— Одной пулей.— Он сложил плу, прикинул так и сяк.— Счастлив твой бог. По ногам хлестнуло, да попали в шинель.

Ксана вспомнила пулеметный треск, фонтанчики земли рядом с собой, страх и полное бессилие.

Но сейчас это уже ушло. С ней были три товарища, три добрых и честных парня—теперь ей не только не было страшно, но даже немножко стыдно, что она так перетрусилась.

Ксана лежала, свернувшись на телеге, прикрыв фуражкой лицо. Только сейчас со всей остротой она начала понимать, что произошло. Красные отступали—и это было самое тяжелое. Труппа осталась в плену. Что делать Ксана без труппы! Сколько потерь и смертей! Сколько неправедного! Григорий Иванович...

Телега прыгала по кочкам, голова больно ударялась о доски телеги, но Ксана не подымалась, так ничтожно было все в сравнении с тем главным, что происходило,—красные отступали.

ГЛАВА XXVII

ДОРОГИ, ДОРОГИ...

Дороги, дороги, забытые телегами, грузовиками, брошенными вещами. Хмурое небо, хмурые лица.

Люди сидят на повозках, бредут, глядя в землю, или устремляются вперед, чтобы помочь расшить затор,—у всех подняты плечи, головы втянуты, как у больших нахлоставшихся птиц. Едва двигается громоздкий обоз: сбился телеги, не развезти; где-то выдохся, стал на дороге грузовик, где-то пала лошадь, не распрячь, сзади вехали другие повозки, сцепились... Не один, а несколько обозов беспорядочно переплелись, перебили путь друг другу.

Позади красные войска с тяжелыми боями сдерживают натиск неприятеля.

Впереди, там, где затор, из людей, способных держать в руках оружие, формируются отряды—в обозе большей частью строевые службы, хозяйственные, санитарные, есть политотделы, есть строевые, потерявшие в суматохе свои части.

Собирают оружие для отряда.

У Ксаны в кармане револьвер—черный, с синеватым отливом, браунинг. Ее три товарища ушли в отряд, взяли винтовки, ей оставили браунинг.

Но не может Ксана сидеть на телеге и понукать измученную лошадь. Она уже почти выдохнула. Только слабость осталась, да лихорадки немного. Впрочем, это не лихорадка, ей просто холодно: под шинелью только белье.

А мелкий дождь, как из пульверизатора, опсыпает всех водяной пылью.

Ксана перелезает из телеги в телегу—во всю ширину дороги сбился повозки, ржут прижатые лошади,—плохо понимает человек, о чем кричат и плачут животные!

По истоптанному полю—жито уже давно убрали—обходит Ксана обоз. У небольшого леса около полусотни человек сидят на земле, на корточках, зажав меж колен винтовки, некоторые стоят, опираясь на винтовку, как на посох. Несколько командиров раздают оружие, записывают людей.

Ксана стоит неподалеку, смотрит, потом подходит.

— Запищите меня,—обращается к молодому черноволосялому человеку с бледным лицом. Из оттопыренных карманов его кожаной куртки торчат наганы и браунинги.

— Куда?—хмуро спрашивает он.

— Ну, в отряд. У меня есть браунинг.

— Сдавайте!—коротко приказывает юноша, берет у нее револьвер, проверяет его, расспрашивает Ксану, кто она.

— Нет, не возьмем, ищите свой Подие, здесь есть где-то ваши.—Он кладет браунинг к себе в карман, тот едва помахивает там.

— Ну, пожалуйста,—просит Ксана.—Я умею стрелять. Я даже из обреза умею,—бесстыдно хвастает она, отгоняя от себя осоминания, как ей было больно.

— Да!—Молодой командир пылливо смотрит на нее, что-то говорит подошедшему человеку с красным от возбуждения лицом и блестящими темными глазами.

— Нет!—решительно говорит тот.—Здесь же есть ваши, подивцы, пусть они сами решают, куда вас направить. А браунинг нам нужен.

Ксана стоит огорченная, ей досадно и неловко: просила, ей отказали, не нужна она здесь. И не глядя на этих двух молодых, в комках, она сердито и громко спрашивает:

— А кто командир отряда? Я с ним хочу поговорить.

— Я командир,—чуть улыбаясь, отвечает бледный черноволосялый юноша.—Знаете что, мы бы взяли вас, да ведь артисты тоже нужны.—Он сразу становится каким-то домашним, симпатичным и добрым, но это только на мгновение. Вот он снял фуражку, вытер рукой лоб, снова надел и ее резким движением и, уже забыв про Ксану, суровым и резким голосом что-то скомандовал.

Люди поднялись с земли, сгрудились вокруг него. Ксана отошла дальше, стояла, смотрела.

Обида прошла, но было неясно, что же надо делать, где искать Политотдел. И грязно сожаление, что отдала браунинг. Ведь, может, будет формироваться еще один отряд.

Обозы понемногу начали двигаться, люди постепенно высобирали одну за другой повозки, отскакивали в сторону ненужное: испорченный грузовик, павшую лошадь, телегу...

И в эту минуту Ксана увидела сутулого чернобородого Дабора. Она бросилась к нему, стала спрашивать, как быть, что предпринять.

— Посниела совсем,—перебил он ее.—Надо одеться теплее.

Ксана объяснила: вещей нет, большая часть осталась, а самое необходимое отправила с Макеевко из военкомата, но еще не встретила его, может быть, он где-то здесь, в этой мешанине.

— Надо что-то придумать,—покачал головой Дабор и кинул в сторону обоза.—Наконец двинулись! Сидите на повозку куда-либо. Пока с обозом будем двигаться, а там узнаем...

На ночь Ксана не удалось попасть в хату. В деревне остановилась конная часть, направляющаяся на фронт. Все было занято, люди спали влопалку на полу, в клунах, на сеновалах. Дождь то принимался моросить, то переставал, ночами было сыро и холодно, люди рвались к теплу. Ксана поискала ночлегу, сунулась в одну хату, в другую, вернулась к обозу, улеглась на жесткую телегу: не сумела достать сена или соломы. Вокруг сидели и лежали на повозках люди, ворочались, перекидывались словами.

Шли толки о скором мире, идут-де переговоры; и так и сяк судили о земле, о хлебе — сколько будет забирать и сколько хлеборобам оставить, мужику надо подняться, он вовсе обессилен; говорили о коммуне, обязательно ли вступать в нее и как будет с ленивыми и нерадивыми; задумывались, куда повернутся те солдаты, что служили Деникину и Врангелю, и как потом вместе с ними жить... Говорили о Ленине, интересовались, из каких он; верили: уж он-то мужика не обидит, он дело понимает.

Кутаясь в свою изношенную шинель, Ксана слушала эти разговоры, слушала собственные мысли, ворочалась, не спала.

— И что это, братцы, — резанул ее высокий мальчишеский голос, — звезды так мигают? Как выйдут из-под-за туч, так и мигают. И никто не знает, что там, на этих звездах? Или впрямь какие-нибудь ангелы, или демоны живут, или это просто камни блестящие, целые горы бриллиантовые. А может, пожары? Ведь даль-то какая? Здесь вроде звездочка, а на самом-то деле, ух ты! И кто из вас, братцы, как понимает, что это такое?

— Ученые это знают, — проронил кто-то.

— Знают, да не скажут, — пошутил другой.

— Попа спроси, он тебе все объяснит, — раздался насмешливый голос.

— Вы вот, братцы, смеетесь, — очень искренне и восторженно прозвучал тот же молодой тенорок, — а ведь человеку знать надо, что от них — радость идет, польза какая или опасаться надо.

Кто-то громко рассмеялся.

Слышно было, как юноша резко повернулся в ту сторону, откуда раздался смех.

— Нет, братцы, это знать надо. Летал бы я на аэроплане, уж я бы полетел туда, хоть не достиг бы, но поближе увидел бы, что это. Какое это чудо над нами! Кончится война, я перечитаю все книги про звезды, найду ученых людей, скажу: дайте мне самый сильный аэроплан, чтоб повыше брал, полечу я и все разузнаю. Погибну — так не бойтесь, не беда это!..

— Да на черта лысого мне твои звезды! — нетерпеливо и зло выругался кто-то. — Рана у меня болит, места не найду. Вроде зажила, а вот...

Юноша замолчал. Чувствовалось, что он не то что обижен, а отделился от всех, лежит, заложив руки за голову, смотрит в небо, думает про звезды и строит планы, как узнать про них...

Утром, чуть рассвело, Ксана проснулась от холода — руки одеревенели, все тело ломило, — увидела недалеко костерик, пошла к нему.

На короткаях у костра сидел Дабор, обкладывал щепками котелок. Возле, на кучке щебня, притулился еще один политотделец, Пименов, молодой, добродушный, чуть отяжелевший человек с светлой бородой и бледно-голубыми глазами. Короткая, не по росту шинель Пименова, с рукавами чуть ниже локтя всегда вызывала шутки и насмешки, которые он сам весело поддерживал. Сейчас он вместе с чернобородым Дабором — оба замершие и не выспавшиеся — ожидали, когда вскипит чай. Ксана подтащила к костру валявшийся кирпич и села греться.

— Замерзла? — спросил Пименов. — А кружечки нет? Чай пить?

— Нет, — виновато улыбнулась Ксана. — Чаю бы хорошо. Совсем закончена.

— Тут с нами две подводы раненых — шесть человек, — помешивая в костре, медленно, как бы в раздумье, говорил Дабор. — Грязные, белья запасного нет, бинтов нет, перевязать нечем.

— Да... покачал головой Пименов. — Доставать надо.

Чай вскипел. Дабор отодвинул котелок от огня, вынул из вещевого мешка алюминиевую кружку, вытер ее внутри краем мешка, налил кипятку и дал Ксане. Ксана чуть не выронила, поставила на землю, кружка разогрелась, обжигала руки.

— Вот что, Ксана, — все так же медленно, будто раздумывая, продолжал Дабор. — Здесь живет помещица. Богатая. Я дам вам мандат, пойдете к ней, реквизируете несколько простын, ну, скажем, полдюжины; если есть, мужского белья столько же. А, кроме того, дайте себя подберете платые, белье, теплее что-нибудь. То, что надо. Сами увидите. Живет она, говорит, широко, денег не считает, каждый год в Париж ездит. Здесь все кругом ей принадлежит: земля, лес, маслобойка, лесопилка... Вот. Это надо сейчас сделать. Пока обоз стоит.

— Я не смогу, — зволновалась Ксана, — боюсь, что не смогу! И потом, что ж для себя? Ведь я Маквенко должна найти, там у меня в документах все есть.

Дабор молчал. Он поставил наземь флагу, обштую солдатским сукном и, придерживая ее ступнями, наливал в нее кипяток.

Пименов шумно прихлебывал из кружки, внимательно исподлобья глядя на Ксану.

— Пейте, — сказал он ей, — а то остынет... Маквенко этот, судя по всему, кажется, подался на ту сторону фронта.

— Вот, — тихо, но твердо проговорил Дабор. — Это — партийное поручение. Дам вам бойца с оружием. А что касается Маквенко, не вы должны его искать, а он вас. Если, конечно, он человек и коммунист.

— Я бы сам пошел к этой помещице, — улыбаясь, сказал Пименов, — да не успеть, другое поручение есть.

...Держа в кармане сложенную четверо грозную бумагу с печатками, Ксана идет к помещице. За ней следует красноармеец с винтовкой.

Добротный дом. У ворот стоит старик, что-то чинит.

— Это дом помещицы? — спрашивает его Ксана.

— Та не, — лукаво улыбаясь, отвечает старик. — Помещицын дом во-он гле, на горке. Белый, каменный. А тут ее главная служанка живет. Так помещица к ней перебралась, пока заваруха идет. Безопасней, значит.

Ксана уходит во двор. Дом стоит спиной к улице. Крыльцо скрыто от посторонних глаз, надо обойти весь дом. На широкой террасе стол, на нем десятка два копченых гусей. Несколько гусей подвешено к потолку террасы.

Пожилая полная женщина с белым оленьим лицом суетится вокруг гусей, укладывает их в большой ящик.

— Здравствуйте, — говорит Ксана и протягивает ей бумагу.

Та читает, ахает, садится на табурет.

— Моих вещей здесь нет, — сердитым, властным голосом заявляет она. — Здесь вещи моей горничной. Скажите на милость, как это вы смеее требовать у людей их собственные вещи?

Из комнаты выглядывает дородная женщина, голова ее повязана по-украински платочком, брови испуганно подняты кверху, лицо озабоченно.

— Не волнуйтесь, — говорит Ксана. — Вещей вашей горничной мы на тронем.

У дородной женщины лицо как бы расправляется, тень сбегает с него, она смелее входит на террасу.
— Нам нужно немного,— обращается к помещице Ксана,— для раненых простыни, мужское белье и... для меня что-нибудь. Я потеряла свои вещи в Ковеле, при отступлении.

Помещица от волнения кричит басом:
— Я ж вам говорю, здесь ничего моего нет! А вы что, красноармейка? Хм! Так что, у вас не хватает реквизиционных вещей? Ваша Чека ведь все забирала!

— Как вам не стыдно говорить такие глупости! — возмущается Ксана.— Вы бы должны быть всякого мандата предложить что-нибудь нашим раненым. Надо сменить им белье, перевязать их...

Горничная искоса смотрит то на помещицу, то на Ксану, но не вмешивается.

Красноармеец, стоя за Ксаной, громко вздыхает.
— Что вы от меня хотите?! — вдруг кричит помещица, лицо ее покрывается пятнами, глаза становятся выпуклыми, словно хотят выскочить из орбит.— Здесь ничего моего нет. Только гуси мои. Я их должна отправить дочери в Луцк. Это ее гуси, ее, а не мои. А вещей у меня нет. Мои вещи, если хотите знать, в Париже. Я не могу ничего дать.

Ксана растерянно молчит.
— А дичина у вас не просит,— выходя вперед, говорит, как рубит, красноармеец.— А требует именем Советской власти!

— О господи! — ахает помещица и хватается за виски.— Да что ж это такое?

Красноармеец идет в комнату, но она опережает его, отталкивает.

— Что за сумдучи здесь? Чьи? — решительно спрашивает он.

Действительно, в комнате несколько больших сумдуков, кое-как поставленных, видно, что здесь они недавно, еще не прижились, стоят не у места.

— У меня и ключей нет,— срывается помещица.— Ключей нет! — Голос ее теряет мужскую строгость, она причитает, ахает, чуть не плачет.

— А ну открывайте,— требует красноармеец,— а то сами откроем! — И он ставит винтовку, грохая прикладом об пол.

Помещица умолкает и быстро, покорно открывает сундук. Сразу бросаются в глаза шелка — черные, зеленые, желтые, пласть, костюмы.

Красноармеец показывает на другой сундук. Женщина быстро заперла сундук с одеждой и открывает другой. Он полон белья, нового, дорогого, с кружевами, с прошивками, нарядного белья. Торопливыми руками помещица перебирает белье, ищет что-нибудь похуже.

— Вот, нете простыню,— выбрасывает она уже не новую.

— Новые давайте! — командует красноармеец.— И не одну, а как в мандате написано.

— Что вы! — умоляет она смотрит женщина на Ксану.— Вы же, кажется, сказали, одну.

— Полдюжины,— говорит Ксана.— Ведь в этом сундуке их, наверно, дюжины три?

— Только две, паненка, только две,— бормочет помещица.— И вот вам мужская рубашка. Она ношенная, но вполне годная.

Нужно шесть рубашек,— говорит Ксана. Ей хочется скорей уйти отсюда.

— Положите дюжину, да попрочнее! — сердится красноармеец.

Но женщина уже разобралась, с кем надо иметь дело.

— Ну что вы! Паненка сказала, шесть. Ай-ай-ай, вы хотите больше, чем полагается,— обращается она

к красноармейцу.— Уж нет! Паненка вам не позволяет брать лишнее.

— О! — вздыхает Ксана.— Плохой вы человек, скверный человек, вот что! Идем отсюда! — Она машинально тащит за локоть красноармейца, но тот отдергивает руку, заворачивает простыни и рубашки и требует:

— А для дичины давайте, что там требуется! Новая волна аханий, криков, вслесков.

Ксана чувствует себя совершенно измученной, она выходит во двор. Горничная идет за ней. Красноармеец еще шумит в комнате, но помещица уже чувствует, что можно захопнуть сундук. Едва он успевает выйти, за ним защелкивается замок.

— Ах, сука! — оглядываясь на дверь, ругается сквозь зубы красноармеец, и, держа под мышкой сверток, быстрым шагом уходит вперед, оставляя Ксану позади. Он презирает ее и не скрывает этого.

Отойдя довольно далеко, он наконец останавливается, ждет Ксану.

— А белье-то вам? А чулки-то? Так и будете ходить с голыми ногами? И гуся-то хоть бы взяли, эх вы! Вас послать...

— Ладно! — машет рукой Ксана.— Я обойдусь. Противно очень.

Но он не умолкает. Всю дорогу бранит Ксану и выговаривает ей:

— Это что? И Белья-то не взяли? Где вы его нынче раздобудете? И чулок не взяли. Интеллигентки! — Он с таким презрением произносит это слово, будто нет тяжелее обвинения.

Но Ксана и сама понимает, как глупо, что она стеснялась. Действительно, у нее нет даже смены белья, нет чулок. Интересно, почему богатая женщина так мелочно жадна? Неужели в ней не проснулись обыкновенные человеческие чувства? Ни один человек с добрым сердцем не отступил бы так Ксану, а постарался бы ее одеть. Ведь осень на дворе...

Вот уж правда — помещица. Чужой класс...

Красноармеец подробно докладывает Двору, как было дело.

Тот молчит, качая головой, взгляд его строгий, неубычивый, и Ксана не может понять, бранит он ее или нет.

Наконец он поворачивается к ней:

— Партийные поручения надо выполнять точно. Даже если они вам не по душе.

Строгий человек товарищ Дабор. Теперь можешь казнить, Ксана, не оправдала ты его доверия.

Унылый частый дождь. По ночам заморозки. Ночевки в тесных хатах, набитых до отказа, — едут люди с фронта, едут люди на фронт. Все говорят о мире, ждут его. Ксана едет в Киев. Есть приказ: явиться в Политотдел армии...

Дороги, дороги...

ГЛАВА XXVIII

КРАСНЫЙ ШАРФ

Н маленькой станции Ксана ждет поезда на Киев. Заботливый бородач, латыш Дабор сказал, что отсюда надо ей добраться до Киева поездом, а сам ушел куда-то пешком. Здесь же, на платформе, ожидают поезда несколько красноармейцев: одни сидят на корточках у стены, другие прямо на дощатой платформе, свесив ноги вниз.

Холодный, но солнечный осенний день. По одну сторону платформы поселок, по другую лес — черные высокие сосны, побуревшие и частью облетевшие, но все еще светлые ясени да дубки с твердой темной листвой.

Воздух такой чистый и прозрачный, что каждую веточку можно разглядеть. Крпкий запах сосны стоит вокруг, чуть потягивает грибами — так все здесь покойно, мирно и домыто. Да и апрель идет дело к миру с панской Польшей — кругом только об этом и говорят.

Ксана сидит на столбике, это — единственное наполнение о том, что когда-то здесь, на станции, стояли скамьи, вероятно, их пожгли вместо дров.

Какая-то старуха вынесла ведро с семечками, продает по двести тысяч за стакан, красноармейцы покупают, вкусно щелкают, Ксана тоже купила: хочется есть.

Внезапно несколько поодаль от станции, на переезде, пересекает пути конница.

— Буденовцы! — радостно визгивает молоденький красноармеец, совсем мальчишка, прыгает с платформы и бежит по рельсам к поезду. Очевидно, страстно мечтает он попасть в прославленную кавалерию.

Да и другие красноармейцы провожают глазами Буденовцев, аглаываются, улыбаются.

И есть из что посмотреть! Молодчишко сидят на конях лихие кавалеристы: издала мелькает красный бант на груди, светлый чуб завьется, закружится на ветру, солнечный луч поиграет на рукояти сабли...

Есть сдержанно, спокойно. Но такая есть скрытая сила даже в лошадиной поступи, в напряженной игре мышц под лоснящей шерстью, в глазном, в узеренной посадке конников, в руке, что держит повод, в орлином повороте головы на крепких плечах, в желваках на скулах...

Позади Ксаны раздается восхищенный голос пожилого красноармейца в башмаках и белых омуцах вместо обмоток:

— Ух, дьяволы, ух, и красота же, ну, не едут, а пляшут, сукины дети!

Проехала конница. И тут же, следом, показалась группа бойцов. Стояла на переезде, осмотрелась, свернула на станцию. С разбегу вскакивали на платформу. Одежда наполовину штатская — куртки, подпоясанные ремнями, на некоторых хоть и галифе, а рабочая кепчонка, у других штаны навыпуск, башмаки поношенные. пальто. Совсем молодые парнишки, лет по семнадцать-восемнадцать. И сразу обжили платформу, уселись, прилегли, как на привале, мешки, котомки сложили в кучу, только винтовки при себе оставили. Двое — видно, старшие — побегали маршрут узнавать, а может, за пайком. Остальные отдыхают, намазались, верно. По лицам, по одежде — городские парни, большая часть — рабочие. Ближе к Ксане группа — человека четыре — села в кружок, оживленно разговаривает о чем-то. Подтанутый юноша во френчишке, с красным шарфом на шее, собранный, ловкий, что-то объясняет товарищам, а сам нет-нет да и бросит любопытствующий, с усмешкой взгляд на Ксану. Потом встает, пододвигает к ней.

— Что сидишь одиноко? Валяй к нашему братству.

— Что значит — валяй? — сдержанная улыбка, задорно спрашивает Ксана. — И мы вроде не так уж знакомы, чтобы сразу на тыяя.

— Ух ты! — весело кричит юноша. — Смотри какая!

Его товарищи смеются, поглядывают на них.

— Ну ладно! — вдруг серьезнеет он. — В Союз молодежи?

Она качает головой. Взглядывает на его роскошный, мягкий красный шарф. Здорово он идет этому смуглолицему мальчишке.

— Нет? Почему? — Он поворачивается к своим. — Эй, братья! Ленка, иди-ка сюда!

Невысокий румяный Ленка подходит вразвалочку.

— Будем знакомы! — говорит он, подавая руку; в глазах его сверкают наслешившие огоньки.

— Будем! — с вызовом отвечает Ксана.

— С фронта? На фронта? — допытывается Ленка.

Ксана серьезно смотрит ему в глаза.

— С фронта. Из самого Ковеля.

— Санчасть? — догадывается юноша с шарфом.

— Нет. Из фронтовой труппы.

— Артистка? — И, щуря глаза, он протяжно свистит: — Вои чо!

Ксана кратко рассказывает о судьбе труппы.

Пареньки внимательно слушают, закидывают ее вопросами:

— Почему здесь одна? Куда направляешься? Сыта ли? Почему не в Союз молодежи? Ах, кандидат партии?

И, совсем бесцеремонно обняв ее за плечи, тащат к своим. Тут же пересказывают товарищам все, что известно о ней, достают из сумок сухари, вареную картошку. Кто-то передает половинку вяленой воблы.

И вот уже они вместе закусывают, вернее, они-то угощают, а ест Ксана. Ох! И до чего же она голодна! Как волчица! Она говорит об этом и хохочет, и они все смеются. И снова спрашивают и рассказывают о себе.

Комсомольцы-добровольцы приехали недавно, панов бить, а тут уж шапки раздают. И повоевать толком не пришлось. А теперь, видимо, их направят на Южный фронт, топить в Черном море Врангеля. Нельзя спокойно жить себе да поживать, пока враги гуляют на нашей земле.

— Дашь Крым! — восклицает Ленка и потрясает высоко поднятым кулаком.

— Едем с нами! — зовет Василий. Лицо его рдеет, не то разгорячилось от разговоров, не то шарф бросает на него свой отблеск.

— Не партизанить! — предупреждает кто-то из ребят. — Куда найдут нужным, туда и пошлют. Дисциплина!

Неизвестно, как это происходит, но в самое короткое время Ксана узнает почти о каждом. кто он и откуда. И удивительно, что уже со всеми она на тыяя и кто-то долго трясет ее руку, зовет после войны в свой родной Питер и говорит товарищам: вот это свояская дивчина! Пожалуй, такой быстрой дружбы еще не бывало в ее жизни. И кто бы мог подумать, что эти паренки с интересом будут слушать стихи и пересказанные ею пьесы. — они их не читали, не видели на сцене, им интересно узнать о Чайке, о Снегурочке...

Так много надо рассказать им, этим новым друзьям, так много услышать: все они торопятся, перебивают друг друга, громко хохочут и серьезно спорят, доказывают, говорят... Как их не хатало ей до сих пор! И смешно, что они тоже утверждают это.

— Эх, Ксана, поехала бы ты с нами!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Подождите, ребята! — Это она так впервые обращается; до сих пор иногда только в шутку, с нарочитой грубостью можно было сказать «ребята». Подождите, ребята, расскажите мне про комсомол. У нас в Курске, если были комсомольцы, то не довелось нам встретиться. И здесь, в Политотделе, не было. Может, в частях, на самых передовых...

— Смотрите, до чего необразованная! — шутит Лена, и это вовсе не обидно, а наоборот, как-то очень по-дружески. — Ну так вот... — Он начинает рассказывать о молодых петроградских рабочих, о первых комсомольцах, — ну все это тот парнишка знает, недаром сам из Петрограда.

Она вспоминает, что ей Клава Духанина уже говорила о московских комсомольцах. Многие из них еще до комсомола воевали в дни революции на улицах Москвы. Но Ксана тогда интересовалась боями и как-то не обратила внимания на слова «союзная молодежь», а, оказывается, это и есть «Коммунистический союз молодежи»...

Но тут появляются те двое, что уходили в поселок разужать что-то, они шумно торопят товарищей: — Поднимайся, братец! Быстро! Маршрут получен. Пешедралом потопаем до деревни, там возьмемся в часть...

— Становись! — командует другой. — Пошли за мной! — И сам прыгает с платформы вниз.

И все за ним сыплются вниз, и Ксана тоже прыгает и бежит вместе с ними по рельсам, по шпалам, покуда наконец все не выбегают на широкую, еще зеленую кромку дороги. Здесь они строятся на ходу и, поудобней залюнув за плечи винтовки, быстрым шагом двигаются дальше.

Еще некоторое время Ксана машинально бежит за ними, но потом заставляя себя остановиться: да куда же она? Куда? Зачем она мчится? Ведь ей в Киеве. Поезд может прийти каждую минуту. Она с сожалением смотрит вслед удаляющимся комсомольцам.

Как родная меня мать
Провожала,
Тут и влс моя семья
Набегала...

Лихо, с присвистом звучит песня. Уходят комсомольцы, оглядываются, машут руками Ксане.

А Василий срывает с себя на ходу свой нарядный красный шарф, свертывает его в комок и бросает Ксане. Шарф разворачивается в воздухе ярким флагом, она подхватывает его. Василий кивает, широко улыбается, знаками показывает, чтоб она надела шарф на шею.

В горле Ксаны что-то сжимается, она стоит растерянно, держит в руках шарф. Бежать за ними?.. Но она должна явиться в Политотдел армии.

Все дальше уходит колонна. Веселая песня, удаляясь, становится почему-то печальной. И на все вокруг — на лес, на небесную даль, на сверкающие полоски рельсов — ложится туманная пыльца, все утрачивает свой блеск, ясность, прозрачность.

Гудок паровоза напоминает Ксане, что ей надо делать. Она бросается назад, к платформе: только бы успеть! По рельсам, по шпалам...

Уже в поезде, втиснувшись в тамбур вагона, полный красноармейцев, с трудом поворачиваясь в толпе и растирая себе лицо шершавым сукном чужой шинели, Ксана надевает шарф. Он мягко окутывает шею, тепло от него проникает в самую душу и нежно согревает ее.

Похрустывает, поет первый снежок под ногами. Вело и чисто кругом. Красив Киев в снегу. Сколько раз в нем Ксана бывала — то наступали, то отступали, — не успевала разглядеть. Да и сейчас некогда по сторонам смотреть, бежит Ксана в Политотдел армии. После ночевки в холодном номере гостиницы языки емются. Да и поешь бы Слово в родной дом возвращается после долгих и трудных странствований. Вот так, проплывая по осеннему бездорожью, являлись артисты в какой-либо полк или бригаду — и радушие хозяев первым делом старались накормить и обогреть людей, пока наспех сколачивались подмошки для выступления.

Ксана входит в большой добротный дом с тяжелыми дверями. Одна комната, другая, третья... Много народу — сидят за столами, пишут, стоят, что-то обсуждают, издают переговоры, — все серьезные, заняты делом. Идет навстречу высокий человек весь в черной коже — куртка, галифе, сапоги. Ксана спрашивает его:

— С кем мне поговорить? Я из Н-ской дивизии. Кожаный человек приостанавливается, даже немного наклоняется.

— А что вы хотите?
Ксана таряется.

— Не знаю. Я явилась сюда... Куда мне надо явиться? — И от смущения она плетет что-то пустое, второстепенное: она не состоит нигде на довольствии, документы просрочены...

Он еще раз переспрашивает, что она и откуда. — Ну что ж... Трупы у нас нет... Можем откомандировать в госпиталь. Хотите работать в госпитале?

— Нет! — сердится Ксана. — Я не хочу в госпиталь.

Ксана понимает: он прав; конечно, куда же послать ее, ведь трупы нет. Но он ни о чем не поговорил с ней, о ничего не знает о ней, и объяснить ему трудно: у него лицо словно замкнуто на ключ. Из соседней комнаты выходят несколько человек, они останавливаются и о чем-то тихо переговариваются. От них кто-то отделяется и быстро направляется к Ксане.

— Ксана Муратова?
— Клава! — Ксана бросается к Клаве Духаниной, обнимает ее.

— Я так рада, — говорит Духанина, — что ты здесь! Ты где остановилась?

— Да ночью, как приехала, командент направил в гостиницу на Думской площади.

— Хорошо! Ты ела? Идем сейчас со мной, поедим, поговорим... Минутку только постою.

Клава отходит к тем людям, с которыми она только что беседовала, туда же подошел и кожаный человек, он рад, очевидно, что о Ксане больше заботиться не надо. Но Клава уже ведет кого-то сюда, к Ксане, и улыбается, и тот тоже улыбается.

— О-о! Да это Рабичев!

Почему-то Ксана так рада, словно встретила родных людей, она долго молча трясет его руку.

— Слышал, — говорит Рабичев, — как выбиралась, все знаю. — И он кивает тому кожаному человеку. Тот быстро подходит, и Рабичев что-то негромко го-

ворит ему, показывая подбородком на Ксану. До нее долетает:

— Оставить при Поарме... На довольствие. Начет обмундирования...— Потом он уходит, по пути дружески прикоснувшись к плечу Ксану.

— Идем,— торопит Духанина,— пообедаем! Обо всем поговорим. Ты знаешь, я очень рада, что ты здесь. Я думала о тебе...

...Они сидят за узким длинным столом, на деревянной скамейке, в самом углу у тяжелого выступа стены. Обедают, перебирают события, вспоминают людей— тот убит, о том ничего не известно, тот в госпитале, ранен... Ксана рассказывает о труппе. Вдруг Клава Духанина машет кому-то рукой.

— Сюда, сюда!
Ксана ищет глазами— кого это она увидела. Срыгается с места и кричит:

— Адоньев! Ты здесь!
Адоньев снимает шапку, обнимает Ксану.

— Жива! Ну-ну! Радость-то какая!
Он подсаживается к столу, Ксана забрасывает его вопросами:

— Как ты выбрался? Где Понсет? Кто еще здесь? Рассказывай.

— Выбрался. Пешим порядком. Клаву Понсет тоже вывел. Забегал к тебе. А тебя и след простыл. Ну вот. Понсет я домой отправил. Что ей здесь делать? Трупы нет. Жаль трупы. Сжились. Я вот под Малином пока. Лес валит, вот уже дней десять. Паровозам топливо нужно. Там леса какие! Помнишь, проезжали? Ну а ты? Про себя скажи.

Они говорят, вспоминают артистов. Клава Духанина слушает, улыбается. Ксана кажется, что Адоньев как-то постарел, стал сутулился.

— Нашего Потогруева убили, знаешь?

— Да что ты?— вскрикивает Ксана.— Они меня из-под Ковеля вывели. Он, Тарасов и Толя Дмитриев. Боже мой, как же это? Потом они все в отряд ушли...

— Не просто убили. Тут не случайная пуля. Ребята рассказали: он как-то кустами в обход пробрался к польскому пулеметчику, патронов уж у него не было, так он взял да кинулся голыми руками на пулеметчика. Пока там что, наши и успели пройти. А его тут, конечно, застрелили. Не просто убит парень. Красиво убит. Как герой.

Он не договорил. Нижние веки его набухли и покраснели.

— Год с человеком живешь, не знаешь, на что он способен. Тихий был. Вот, понимаешь,— опустив голову, пробормотал Адоньев,— как родного сына потерял. Старою, чувствителен стал. Слез не удержишь... Что ж, надо тарелку супу перехватить да по делам бежать, с утра опять еду. Там тоже дружный, отчаянно крепкий народ собрался, комсомольцы. Молодые. Себя не жалеют... Я-то уж отслужил. Вот дарю готовым для паровозов— и демобилизуешь.

Он встал, снова обнял Ксану, обнял и Духанину и заторопился.

— До свидания, комиссар Адоньев!— Ксана захотелась поддержать его собственной твердостью духа, спокойствием.— Передай там комсомольцам привет от фронтовой артистки. Может, найдутся знакомые?

Они остались вдвоем— Ксана и Клава Духанина.

— Сколько ж это людей на свете хороших, просто вообразить невозможно. Вот Потогруев— кто бы мог ожидать? Такой спокойный, тихий,— еще взволнованная тяжелым известием, горячо сказала Ксана.

— Да. Я, понимаешь, тоже очень тяжело переживаю все эти смерти. Хорошо, что хоть на нашем фронте кончились бои.— В голосе Клавы Духаниной прозвучала серьезная и глубокая грусть.

— Знаешь, я просто не представляю, что уже мир!— Ксана удивленно оглянулась, словно мирная жизнь была именно здесь, вокруг нее.

— Мир, да! Только не совсем. Перемирие. А что еще на юге? Там тоже кровь летит... У нас некоторые просятся на врангелевский фронт. А Сибирь! Но и здесь дела много. Не все спокойно. Банды кругом.

Обе на секунду задумываются.

— А знаешь, Ксана,— с каким-то затененным чувством говорит Клава, глаза ее чуть сощурены, она смотрит не то вдаль, не то в себя, и ей все равно, где блуждает ее взор, так она занята своей мыслью.— Я здесь, знаешь, о чем мечтала: создать театр нашей армии. Настоящий театр, с хорошими артистами, с хорошим помещением. Здесь ставить спектакли и выезжать на места в части. И я хотела, чтобы в труппе было ядро— люди, прошедшие с нами фронт, молодые, революционные. И кто, как не ты, подошел бы для этого?— Глаза Клавы блестят, лицо оживлено.

Ксана и счастлива и встревожена.

— Подожди! Это так заманчиво— театр! Но разве я актриса? Слушай, Клава, слушай, я скажу тебе все, как думаю. Я просто девочка, которая любит театр и хочет играть. А умею ли я играть? Нет, нет, не перебивай меня. Послушай. Я много думала... Вот все говорят: способная, способная. А разве остальные в труппе были неспособные? Дорогая Клава, просто вы все очень добры ко мне. Но если хочешь знать, если хочешь уж совсем, совсем начистоту, я действительно чувствую в себе большую силу. Об этом никто не знает. Это приходит ко мне чаще всего ночью, когда я одна— я беру свои любимые пьесы и читаю вслух монологи или какую-то роль. Я играю целый спектакль одна. Нет, не играю, я живу чужой жизнью, я по-настоящему живу. И иногда так измучаюсь, изстрадаюсь... Устану. И так больно и сладко это чужое страдание! Нет, нет! Меня надо учить, я еще ничего не знаю, я ничего не умею, я еще совсем не актриса.

— Представляешь,— спокойно говорит Клава Духанина.— Я рада слышать это от тебя. Хотя очень хотелось мне, чтоб ты была у нас, в нашем театре. Я ведь надеялась, что ты со своей горячностью сможешь мне создавать этот театр. Но ты права. После съезда надо многое передумать. После того, что сказал Ленин...

Ксана вопрошающе смотрит на Клаву.

— Ты не знаешь?— удаленно ахает Духанина.— Не слыхала? Ну-у? Я тебе все расскажу. Был съезд комсомола. Много там говорили интересного. Но знаешь, что сказал Ленин? Надо учиться,— подчеркивает эти слова Клава. Она подробно рассказывает о выступлении Ленина.

— Я таких комсомольцев встретила!— радостно сообщает Ксана.— Уж не со съезда ли они ехали? Нет, наверно, рассказали бы. Но славные такие паренки!.. А знаешь, Клава,— перебивает она сама себя,— я думала, ты меня осудишь. Скажешь: другие воюют, а ей надо учиться. Я когда-то осудила одну девочку. Но это было совсем другое. Она презирала нас, Красную Армию. Вообще, наверно, контрреволюционерка в душе. А учиться... Это необходимо. Мне особенно. Я всего шесть классов окончила.

— Мы пошлем тебя учиться. В Москву. Хочешь?

Потом, когда-нибудь, через много лет, ты приедешь в наш театр. Актрисой!
Они обе хохочут, хохочут до слез.

...Ах, как хорошо снег хрустит под ногами! Как бело вокруг! Какие нежно-голубые блики лежат в ложбинах! Уже чуть смеркается. До чего красив город!

Света в гостинице нет. Зато под самым окном Ксаны горит бледный уличный фонарь. От него в комнате светло, хоть всю ночь читай. Читай или думай о своем, меряя шагами комнату. Столько всего впереди! И главное, Москва! Но еще зевать домой. Увидеть своих. Маму. Дорогая моя мамочка, прости меня, что я совсем не думала о тебе. Нет, я думала, думала, с болью. А отец! Вот перед кем я виновата. Он всегда так заботился обо мне. А я... никогда, никогда не заботилась о нем. Я и грубила ему. Он не хотел, чтобы я стала артисткой. Прости меня, папа, но я все-таки буду артисткой! И я тебя очень люблю. И уважаю тебя! Скоро я всех вас увижу, сестры мои и братишка. И милая моя Мира!.. Нет, нет, только без слез! Надо держаться. И ты, дорогой, ты бы мне тоже сказал: надо держаться! И крепко сжал бы мои руки... Но тебя там уже не будет. Нигде уже не будет!..

Не снимая шинели, — в комнате холодно — Ксана долго стоит у окна, потом при свете фонаря укладывается спать.

В окно заглядывает снежная ночь. Тишина. И будуще.

ГЛАВА XXX

ПОЕЗД В БУДУЩЕЕ

Шумно и людно на вокзале. На перроне сидят и лежат красноармейцы, матросы, женщины с мешками и корзинами... Два санитары в грязных белых халатах, надетых на шинели, тащат на носилках красноармейца. Он поднимается, размахивает руками, куда-то рвется, бредит, мутные глаза его ищут кого-то среди толпы. Тиф.

Комиссар вокзала в красных галифе и черной кожаной куртке, с огромным маузером в деревянной кобуре, отдаёт распоряжения, покрикивает на пассажиров. Он идет по перрону, покрытому ковром из подсолнуховой шелухи, а за ним двигается десятка-две людей, все они что-то спрашивают у него, требуют, просят. Кто-то отчаянно ругается, кто-то истерически кричит:

— Я свою кровь проливал, контра ты зтакая!

На путях стоит поезд, набитый до отказа. Ксана тычется во все двери, но вагоны настолько переполнены, что войти невозможно. Какой-то матрос с десятком «лимонах» на поясе, силой вталкивается в классный вагон, крича:

— Расступились, взорвусь!

Никто не расступается, но матрос как-то вдавливаются в толпу. Его громкий голос долго слышен Ксане, проходящей мимо вагонов и тоже пытающейся куда-нибудь втиснуться.

Красноармеец с морщинистым, бледным, усталым лицом, видно, после болезни, взбирается на буфера между вагонами и, кряхтя, с трудомлезает на крышу. Ксана стоит, приглядывается и тоже лезет за ним. Не очень-то легко это сделать, хоть вещей у нее нет. Маленький узелок заткнут за пояс.

На крыше уже довольно людно. Кто-то расположился с тюками, корзинами, кто-то сидит, закусывает хлебом с огурцами.

Ксане нравится здесь. Она стоит и оглядывает сверху вокзал, пути и виднеющийся город. Легкий ветерок треплет концы ее красного шарфа, и он похож сейчас на флаг.

«Сколько я здесь оставляю! — думает Ксана. — Или наоборот — беру с собой». — Она улыбается городу, небу, всему, что прошло, воспоминаниям, улыбается и плачет.

Поезд рывком трогается, но стоять нетрудно, Молодой ватный боец кивает Ксане.

— Эй, браток, стоять будешь всю дорогу — без головы приедешь.

Сильный паровозный гудок оглушает Ксану, она хмурится.

Поезд набирает скорость — и вот проносятся мимо дома, сараи, склады...

Белый снег кругом. Чисто, ясно. Блестят на солнце рельсы, бегут, открывают путь вперед.

В Москву.